

# I

Ночь опустилась сырая, темная, и улицы Браилы были пустынные. Холодный декабрьский туман, который часто стелется над берегами Дуная, заполз и в город, и последние прохожие, спешившие вернуться, задыхались в тяжелом воздухе. Тускло горели фонари, стоявшие на почтительном расстоянии друг от друга по обеим сторонам одной из главных улиц; их мутный, бледный свет едва пробивался сквозь туман, и чудилось, будто они не рассеивают, но сгущают мрак. Все лавки и магазины были закрыты, лишь изредка слышались отдельные крики и ругательства на каких-то картежников, засидевшихся в уже закрытом казино.

Огонь горел только в одном маленьком узком окошке, забранном железной решеткой. Окошко это было на уровне земли, и принадлежало оно одной не уснувшей еще корчме, каких в те времена было много на площадях Браилы. Подойдя к низенькой двери этой корчмы и присмотревшись, можно было различить при слабом свете ближнего фонаря раскрашенную вывеску с надписью: «Народная корчма Знаменосца!». В те времена такие вычурные вывески были в моде. Каждая кофейня, если ее содержал болгарин, имела свой девиз; каждая корчма, если ее посещали болгары, кичилась какой-нибудь широковысказательной или нелепой вывеской; на одной можно было прочесть слова: «Болгарский лев»; на другой — «Филипп Тотю, храбрый болгарский воевода»<sup>1</sup>; на третьей — «Свободная Болгария!!!» с тремя восклицательными знаками. Но всего любопытней были болгарские табачные лавчонки. Вот, например, лавка, дверь которой открыта. На внутренней стороне двери, то есть на той, которая сейчас обращена к улице, изображен турок в традиционной чалме, а в руке у него трубка с длинным чубуком. Впрочем, прохожий вряд ли заинтересуется этой работой совершенно заурядного и неискusstного маляра, если не заметит под коленями турка нацарапанную гвоздем надпись, сделанную, вероятно, патриотом табачником: «Долой тиранов!» Так же размалевана дверь другой табачной лавки, расположенной подальше, но надписи на ней нет; зато кто-то выколол глаз у достойного турка. Другой табачник, должно быть еще более пламенный патриот, еще более страстный ненавистник турецкого племени, велел изобразить рядом со своим турком хэша<sup>2</sup> с саблей наголо и в такой позе, словно он уже готов зарубить злополучного чалмоносца. Покупатели, заходившие в подобные лавки, были в большинстве эмигранты и хэши. А хозяева лавок все без исключения

---

1 Филипп Тотю, храбрый болгарский воевода, — Филипп Тотю (Тодор Тодоров) (1830–1907) — прославленный организатор и предводитель повстанческих чет (отрядов) в Болгарии в 60–70 гг.

2 Хэш (болг. хъш) — буквально: бродяга, босяк, скиталец, презрительная кличка, которой болгарская буржуазная эмиграция именвала представителей революционно-демократических эмигрантов, главным образом участников повстанческо-гайдуцкого движения. Последними эта кличка была принята как почетное прозвище, отличавшее их от консервативных и буржуазно-либеральных элементов болгарской эмиграции в Румынии.

были «народные», то есть народолюбцы, патриоты. Надо сказать, что в Румынии «народным» называл себя каждый болгарин, который спасся от петли, тюрьмы или турецких зверств, имел хоть какое-нибудь состояние и по мере сил помогал неимущим, всеми презираемым хэшам, оставшимся в живых после разгрома героических чет Хаджи Димитра<sup>3</sup> и Филиппа Тотю. Каждый такой «народный» табачник отпускал в долг табак своим соотечественникам в радужной надежде, что с ним расплатятся, когда наступят лучшие времена; а если и не заплатят, — ничего. «Ведь они, хэши, люди бедные», — говаривал он с усмешкой.

— Бай Андо, отвесь-ка мне еще двадцать пять драм табаку да припиши к моему долгу, — говорил «народному» табачнику какой-нибудь рослый хэш, обтрепанный и немытый, — я нынче утром просил денег у чорбаджии, а он говорит: «Приходи завтра» Он мне помогает, правда истинная, но если обманет и завтра, я ему голову проломлю, псу этому...

— Крумов! — говорил другой хэш, обращаясь к владельцу бакалейной лавки. — Дай мне в долг еще два франка.

— Промотаешь и их — знаю я тебя... Вот тебе пятьдесят бан<sup>4</sup>, трать их на здоровье! — отвечал Крумов.

В те времена болгарские эмигранты носили вымышленные фамилии, и присвоить себе громкое имя считалось признаком патриотизма. Встречались в этой среде люди, называвшие себя Перунов, Асенов, Балканский, Левский, Громников, Планинский и т. п.

Но давайте войдем в корчму, окошко которой еще светится в ночной тьме.

Эта корчма помещалась в глубоком подвале, в который спускались по витой лесенке с крутыми ступеньками.

Корчму освещала висевшая на потолке закопченная керосиновая лампа с треснувшим стеклом.

Воздух здесь был теплый и спертый, густой от ламповой копоти, табачного дыма и кислых винных паров. К одной стене была прибитая высокая, залитая жидкостью полка, на которой были расставлены «по ранжиру» рюмки, стаканы и кувшины. К противоположной стене были прилеплены литографии, изображавшие бои четы Хаджи Димитра при Вырбовке и Караисене<sup>5</sup> и церемонию принятия присяги, совершенную этой четой на берегу Дуная. Не стоит описывать эти картинки подробно; на нашей родине они встречаются всюду, и каждый из нас в

---

<sup>3</sup> Хаджи Димитр — Д. Николов Асенов (1840–1868), выдающийся болгарский революционер, один из организаторов борьбы против турецкого засилья; погиб во главе своего отряда в сражении с турецкими войсками на вершине Бузлуджа. Ботев посвятил его памяти одно из лучших своих стихотворений («Хаджи Димитр»).

<sup>4</sup> Бан — мелкая румынская монета, 1/100 часть леи.

<sup>5</sup> ...бои... при Вырбовке и Караисене — села в северной Болгарии, у которых в 1867 г. (Вырбовка) и в 1868 г. (Караисен) произошли памятные сражения болгарских повстанческих отрядов под командованием Филиппа Тотю и Хаджи Димитра с башибузуками и турецкими военными частями.

свое время смотрел на них с благоговением и восторгом. Заслуживала внимания другая картинка, грубо намалеванная от руки и прилепленная к стене под тремя первыми. Слева на ней было изображено что-то вроде селения. Из этого селения выходили крестьяне. Впереди шел старик турок в огромном тюрбане, с блюдом в руках, на котором лежал каравай хлеба. Против этой буколической группы стояла другая группа — вооруженные люди в белой хэшевской одежде, в царвулях<sup>6</sup> и высоких шапках с маленькими кокардами в виде львов. Между этими группами маячил какой-то великан, высоко поднявший красное знамя с начертанными на нем словами: «Свобода или смерть!» Внизу крупными корявыми буквами было нацарапано объяснение, из которого явствовало, что на картине изображена встреча, устроенная чете Хаджи Димитра одним видным турком, не помню уж в каком селе. Объяснение завершалось словами: «Да здравствует храбрый Странджа-знаменосец!»

В глубине подвала на нарах сидела компания из шести человек.

Все эти люди были хэши или почти хэши. Старший и самый рослый из них, длиннолицый, худощавый человек с изжелто-бледным лицом и густой черной бородой, лежал, вытянувшись, у самой стены и время от времени выпускал изо рта густые клубы табачного дыма. Он внимательно слушал рассказ одного из собеседников. Рассказ этот, как видно, очень интересовал его: он то морщил свой покрытый шрамами лоб, выражая этим сомнение, то утвердительно кивал головой в знак согласия. Нередко он прерывал рассказчика кашлем и громкими возражениями:

— Нет, нет! Тончо Тралалу убили при Сары-яре<sup>7</sup>, а вовсе не в деревне. Врешь, Македонский!..

Или:

— Это был Иванчо Гырба... Тот самый Гырба, что застрелил Мишева из револьвера... нарочно... Я знаю, он нарочно убил Мишева, окаянный!

— Правильно! Я тоже вспоминаю... Это был Черкес, а не Селвели Мустафа... Да, так и было... я сам видел, как он упал. Ты прав, Македонский!..

Или:

— Я его убил, мерзавца. Чуть знамени не выпустил. Там меня и ранили.

И он громко кашлял, задыхаясь.

Потом опять слушал.

Рассказчик был ражий детина с маленьким рябым лицом, длинными седыми усами и лукавыми дерзкими глазами. Он был одет в слишком широкое для него изношенное пальто без пуговиц и носил громкое имя — Македонский. Как он жил до своего приезда в Румынию, не знал никто; слышали только, будто он был воеводой

---

<sup>6</sup> Царвули — крестьянская обувь из сыромятной кожи.

<sup>7</sup> ...убили при Сары-яре. — Сары-яре (ныне Хаджи-Димитрово) — село близ г. Свиштов.

какой-то гайдуцкой четы в Македонии. Возможно, что именно благодаря этим слухам он пользовался большим влиянием в среде своих товарищей хэшей.

Рядом с ним, скрестив ноги по-турецки, сидел молодой человек лет тридцати, которого называли «Хаджия». Лицо у него было худое, продолговатое, желтое, с острым голым подбородком. На этом лице лежала отчетливая печать усталости и слабости. Он сидел, понурившись и, словно в дремоте, покачивая головой, но всякий раз, как старик перебивал Македонского, встряхивался и кашлял.

Около Хаджии сидел другой молодой человек, со смуглым бритым липом, изборожденным морщинами преждевременной старости. Он пристально смотрел на Македонского, внимательно слушал его рассказ и то и дело машинально проводил рукой от губ к груди, словно поглаживая невидимую бороду. Этот человек был священником и когда-то входил в состав четы воеводы Тотю. Теперь он был хэшем. А прозвали его Попиком.

С неменьшим любопытством и вниманием слушал рассказ самый младший из шестерых, юноша, почти мальчик, в фесе. Он смотрел в рот рассказчику и жадно ловил каждое его слово, а когда говорил старик, внимание его переходило в благоговение. Впиваясь пристальным взглядом в землистое, изможденное лицо старого хэша, юноша смотрел, как морщится его лоб, изрезанный шрамами и складками — следами ратных дел и трудов. Этот двадцатилетний юноша казался воплощением невинности и энтузиазма. Сын одного свиштовского<sup>8</sup> купца, он тайно бежал из лавки своего отца и в этот самый вечер приехал в Браилу на пароходе. Зачем? Он и сам этого не знал. Отцовскую лавку он бросил потому, что ему осточертело удручающее однообразие тихого, обеспеченного, эгоистического прозябания. Идеалист, легкомысленный мечтатель, он жаждал вкушать сладость неизвестного и нового. Если мы добавим, что он уже сочинил и втайне напечатал целую патриотическую поэму, мы легко поймем, почему он забыл взять с собой деньги на расходы.

Македонский, в тот вечер случайно стоявший на пристани, заметил молодого бродягу, познакомился с ним и повел его ночевать к Страндже.

Судя по всему, Македонский сейчас рассказывал о боях и приключениях повстанцев, хлынувших в Болгарию три года назад. А старый инвалид волновался, вспоминая об этих подвигах и героических неудачах. То ли настоящее казалось ему тяжким и бесславным, то ли он подозревал, что в груди его гнездится чахотка, заявлявшая о себе частым надрывным кашлем, но он сердился, обнаружив малейшую неточность в рассказе товарища, повышал голос и гневно хмурился.

Этот бледный, больной, худой, как скелет, человек был Странджа-

---

<sup>8</sup> Свиштов (Свищов) — болгарский торговый город на Дунае. 15 июня 1877 г. восточнее Свиштова Дунай был форсирован русскими войсками, вступившими здесь на болгарскую территорию в освободительной войне 1877–1878 гг.

знаменосец. Тот самый, что был изображен на картине.

Теперь он содержал эту корчму.

Вот почему юноша смотрел на него с таким глубоким уважением.

## II

Когда Македонский закончил свой рассказ, оказалось, что трое его товарищей уже заснули и довольно громко храпят. Странджа немного посидел, задумавшись над тем, о чем шел разговор, потом выпрямился, снял свой рваный и грязный пиджак, вынул из-за красного кушака, который стягивал его продранные и запачканные штаны, большой револьвер и повесил его на гвоздь, вбитый в стену; потом слез с нар, снова гулко закашлявшись, подошел к картине, изображавшей встречу четы хлебом-солью, и, немного постояв и с гордостью полюбовавшись ею, закрыл крышкой большой кувшин с вином, погасил лампу и вернулся на нары, чтобы лечь спать. Спиро Македонский и юноша из Свиштова уже улеглись рядом с другими тремя. Подвал погрузился в непроглядную тьму.

Вскоре к «концерту», устроенному тремя спящими, присоединились громкий храп и тонкий пискливый свист, исходящие из груди Странджи. Сон хоть на время дарил отдохновение этим замученным бедностью людям, этим запавшим от бессонницы и невоздержания глазам, этим полупустым желудкам, этим ногам, ослабевшим и стертым от ходьбы. Завтрашний день сулил несчастным и теперь всеми пренебрегаемым ветеранам новую нужду, новую борьбу за существование. Снова им предстояло терзаться зрелищем богатства и роскоши, встречавшимся на каждом шагу в этом красивом румынском городе. Доколе будет продолжаться такое существование? Что они будут делать в этой чужой стране? Когда же они увидят свои семьи, своих милых жен, своих старух матерей? Болгария была для них закрыта. Правда, Румыния оказала им гостеприимство, но то было гостеприимство, которое оказывает пустынный морской берег выброшенным на него бурей мореплавателям с разбитого, погибшего корабля. Эти люди жили в обществе, но как в пустыне. Дома, магазины, кошельки, сердца — все для них было закрыто. Пробавлялись они лишь милостыней, которую им подавали другие люди, почти столь же бедные. И то не всегда. Каждую неделю неизбежно, неотвратно — наступали голодные дни. Правда, эти люди иногда находили работу, но получали за нее лишь несколько грошей, которых едва хватало на хлеб. Да и не всегда можно было ее найти. Некоторым — немногим — удалось завести торговлишку, скромную, но позволявшую кое-как перебиваться. Среди хэшей было несколько пекарей, корчмарей, мелких торговцев, но большинство беженцев, все умножавшихся, не имело никакой профессии. А зимы стояли холодные, а ноги у несчастных дрожали, а в животах урчало. Один бывший студент, учившийся в русском университете и недавно высланный из Болгарии, купил себе тощую клячу и бурдюк и развозил

дунайскую воду по браильским улицам. Двое учителей, бежавших из Диарбекира<sup>9</sup>, продавали лимонад на площади. Но вскоре им пришлось бросить это занятие: огромные налоги на право торговли, взимаемые городским управлением, оказались для них непосильными. Словом, голод и нищета отовсюду протягивали свои когти к этим несчастным.

Чтобы не умереть с голоду, им оставалось выбрать один из двух путей: либо с оружием вторгнуться в Болгарию и умереть в горах Стара-планины или на виселице, либо заняться воровством. Но Тотю почивал на лаврах, Панайот<sup>10</sup> благоденствовал в Сербии, а Хаджи Димитр давно уже погиб на Бузлудже. Знали об этой гибели только несколько крестьян да орлы. Оставался второй путь — воровство. Но в каждой румынской тюрьме уже сидело по несколько юнаков. Балканские орлы попали в клетки. Героям пришлось превратиться в мелких жуликов. Появился новый пролетариат, голодный, в рубище, но славный своими прошлыми подвигами. Да, ибо грязные рубища, облекавшие тела этих несчастных, были овеяны славой, больше того — славой непризнанной и оскверненной людским презрением, а значит — немеркнувшей. Как часто ходили они на берег Дуная и смотрели на зеленые холмы Болгарии. Вон она, родина, — улыбается им, зовет их, говорит им что-то, показывает им свое небо, показывает их домашние очаги, пробуждает воспоминания и мечты... А Дунай, величавый и тихий, голубеет между ними и ею, и чудится, будто он всего только узенький ручеек. Один лишь шаг — и они на родине, один лишь крик — и она их услышит. Как она близко и как далеко! О Болгария, ты всего нам дороже, когда мы вдали от тебя! Ты всего нам нужнее, когда мы навеки тебя утратили!

Брычков и тот спал. В голове его теснились странные, фантастические образы. Рассказы о подвигах чет сейчас воплощались для него в сновидениях. Он видел, как Странджа поднимает свое знамя на Балканах с криком: «Держитесь, ребята!» Вот Спиро Македонский: он поджег сеновал в турецком поселке и рассек надвое турка, потом турчанку. А Балканы содрогаются, а леса шумят, а ветры воют, и в буковой чаще гремят ружейные выстрелы. Вот чья-то голова в шапке со львом высунулась из-за букового ствола, потом опять скрылась. Вот грянул выстрел, еще выстрел, еще один, послышался залп, и весь буковый лес звенит и стонет... А сердце стучит, стучит и грозит разорваться! Вот показался Хаджи Димитр — точь-в-точь такой, как на литографиях. С мечом в руке он бежит во главе своей дружины. Куда бежит он, такой страшный и прекрасный?.. И вдруг снова грянул выстрел... Воевода упал, обливаясь кровью... Потом все заволкло дымом, набежали тучи, четники превратились в духов и летят, летят в

---

<sup>9</sup> Диарбекир — укрепленный город в малоазиатской Турции, цитадель которого служила каторжной тюрьмой для участников болгарского национально-освободительного движения.

<sup>10</sup> Панайот — Панайот Иванов Хитов (1830–1918), выдающийся организатор и руководитель повстанческих чет (отрядов) в 60–70 гг., с 1872 г. — член БРЦК, воевода добровольческой четы во время сербско-турецкой войны (1876), участник русско-турецкой освободительной войны (1877–1878).

небо... а потом все исчезло...

Проснувшись рано утром, юноша несколько секунд сидел растерянный, пока не пришел в себя. Наконец, он понял, что находится не на Балканах. На нарах осталось только двое спящих. Странджа встал раньше всех, открыл дверь подвала, подмел пол и поставил кофейник на огонь. Револьвера его на стене уже не было. Македонский ходил большими шагами взад и вперед по корчме и курил. Он уже выпил две стопки ракии, которые ему отпустил в кредит старый знаменосец.

— Брычков, — сказал Македонский, подойдя к юноше, — пойдем пить кофе у Ламбри. Но этот свой фес ты брось, а еще лучше подари его Страндже.

Брычков встал, быстро умылся, оделся и вышел из подвала, променяв свой фес на старую изношенную шляпу, которую Странджа вынул из сундука.

Они вышли на улицу, по которой уже тархтели коляски и фаэтоны и во множестве сновали рано вставшие прохожие. Вскоре они вошли в просторную кофейню, наполненную паром и табачным дымом. Посетителю, впервые вошедшему сюда, прежде всего бросались в глаза бесчисленные развешанные по стенам картины, изображавшие примечательные стычки и различные эпизоды из времен греческого восстания, а так же подвиги болгарских чет. На самом видном месте висели портреты греческого короля с королевой и Раковского. Впрочем, в этой кофейне не было ничего интересного. Пока приятели пили кофе, их окружили люди, с виду бродяги, чем-то напоминавшие греческих паликаров<sup>11</sup>. Это были хэши, но цивилизованные. Разговор зашел о последних вестях из Болгарии и закончился игрой в карты. Брычков, обрадованный тем, что в этой чужой стране сразу познакомился с таким множеством болгар, согласился на предложение Македонского поиграть в скамбил со ставкой в один франк. Юноша играл хорошо и несколько раз подряд выиграл у Македонского, который, однако, не вынимал из кармана проигранных франков. Македонский злился, ругал по-румынски и самого себя и Митхада-пашу<sup>12</sup> и с силой хлопал по столу картами — ему положительно не везло.

Но вот подошел Хаджия и шепнул на ухо Брычкову:

— Не играй с Македонским — он тебя оберет.

Брычков кивнул и продолжал играть еще более сосредоточенно.

— Но ты не кладешь денег на стол, — сказал он наконец Македонскому, — а ведь я уже выиграл у тебя одиннадцать франков и

---

<sup>11</sup> Паликары (греч.) — участники вооруженной борьбы греческого народа против турецкого владычества.

<sup>12</sup> Митхад-паша — турецкий государственный деятель (1822–1884), реформатор, в 1864–1867 гг. — правитель Дунайского вилайета. После похода четы Х. Димитра и Ст. Караджи (1864) послан в Болгарию как чрезвычайный уполномоченный центральной власти. Националист, сторонник решительной расправы с национально-освободительным движением, проповедовал идею создания так называемой «оттоманской нации», в состав которой должны были войти все подданные султана.

хочу их получить.

— Не беспокойся, братец. Я, слава богу, честный человек, — отозвался Македонский, тасуя карты.

И вдруг игра приняла другой оборот. Стало везти Македонскому. Брычков начал сердиться. Македонский громко удивлялся, почему ему так идет карта. Вскоре он вернул свой проигрыш и начал выигрывать.

Хаджия с жалостью смотрел на Брычкова.

Брычков продолжал играть. Он начал обливаться потом, так как проиграл уже два наполеона. У него осталось всего пять франков, и он поставил их все сразу. Македонский выиграл. Брычков остался без гроша. Македонский взглянул на стенные часы и сказал:

— Одиннадцать часов! Пойдем обедать!

— Но у меня больше нет денег! — растерянно проговорил Брычков.

— Я тебя угощу, не бойся! Что мое, то твое. Здесь в Румынии всегда так. Мы тебя не оставим. Ведь тут чужая сторона.

Как ни странно, этот человек уже подчинил Брычкова своему влиянию. Его уверенный, насмешливый, лукавый взгляд, в сочетании с беззаботным отношением к жизни, словно приворожил юношу, и тот машинально последовал за Македонским и Хаджией.

### III

Они вернулись в корчму знаменосца.

Странджа уже приготовил обед для своих завсегдатаев — хэшей: снятая с огня кастрюля с фасолью испускала горячий пар. Осталось только подождать нахлебников. И вот они стали входить по одному, по два, и вокруг длинного стола, стоявшего посреди корчмы, расселись голодные люди, которые с ложками в руках нетерпеливо ждали, чтобы Странджа наполнил их тарелки. Среди них были и все наши вчерашние знакомцы. Вскоре начался шумный обед, — губы захватывали пищу, челюсти пережевывали ее, глотки проглатывали. Разговоры велись оживленные и на разные темы. Говорили о политике, о том, как ночью взломали кассу одного богатого купца, о «грабителях народа», о том, что из Мачина приехал богатый турок, которого надо убрать, о том, какие были в позапрошлом году сражения в Болгарии, и о скаредности чорбаджий. Все, кроме Брычкова, принимали живое участие в этих интересных разговорах. После того как сотрапезники пропустили по несколько чарок кислого дешевого вина Странджи, все глаза загорелись, а речи сделались еще более пылкими. Чаще стали слышаться ругательства и угрозы. Бранили одного всем известного богатого болгарина, перебивали друг друга, раздражались.

— Если я не вспорю ему брюхо, толстое, как полный бурдюк, пусть не зовут меня больше Станчо Дерибеем! — кричал один рослый парень, быстро и ожесточенно жуя.

— Злодей проклятый! Ни ломаного гроша нам не дает, обрек нас



на голодную смерть... Но я его распотрошу — только попадись он мне в руки! — кричал, угрожающе подняв вилку, другой сотрапезник, смуглый бородатый мужчина.

— Вы слышите? Эти чорбаджии пьют пот бедняков... Я говорю: прежде чем истребить турок, нам нужно вырезать толстосумов... нет иного спасения! — кричал третий, постоянный читатель газеты «Свобода»<sup>13</sup>.

— Ишь ты какой! — перебил его четвертый. — А ты, сударь, поработай да попотей маленько, а тогда уж и хули других... Как будто чорбаджии для того наживают деньги, чтобы совать их за пазуху Петко Мравке!

Петко Мравка удивленно повернулся к тому, кто посмел бросить ему в лицо подобные слова. Потом проговорил с жаром:

— Я и работал и потел на Балканах; я служил народу и кровь проливал, а что делал ты?.. Ты тогда продавал коврижки.

Но противник его вскипел и, выпив чарку до дна, сказал:

— Продавал я коврижки или нет, про то я сам знаю. Это не твое дело. Но, если хочешь, я тебе покажу свои раны на ноге... Не один ты ходил в бой; однако другие люди не дерут горло, как ты...

Несколько человек закричали:

— Димитро! Молчи! Мравка прав... Чорбаджии — предатели и мироеды.

— Всех их перережем! — подхватили другие.

— Долой чорбаджии! Да здравствует народ!

— Да здравствует коммуна! — взревел Спиро Македонский и с силой ударил кулаком по столу.

В те времена коммуна была новым, а значит, модным явлением.

Между тем чарки с дешевым вином то поднимались, то опускались. Говор становился все более громким. Два человека, сидевших рядом с защитником чорбаджий, уже успели, — слово за слово, резкость за резкостью, — вцепиться друг другу в волосы и подраться. «Предатель!», «Шпион!» — слышались крики дерущихся. Воинственным духом заразилось и все остальное общество. Одни заступались за Димитро, который вопил, как подстреленный, другие — их было большинство — возмущались им. Все сгрудились в кучу.

— Вон! Вон! — послышалось множество голосов.

— Вон, чорбаджийский дружок! — подхватили другие, и несколько жилистых рук подняли слабосильного Димитро, намереваясь отнести его на лестницу и вытолкнуть вон.

— Стрелять буду! Пустите меня! — взвизгнул Димитро, выхватывая револьвер.

Все это могло бы привести к печальным последствиям, если бы не вмешался Странджа.

— Стойте! Оставьте Димитро! — крикнул он, расталкивая рассвирепевших хэшей.

<sup>13</sup> «Свобода» — болгарская газета, орган Болгарского революционного комитета (1869–1872), издававшаяся в Бухаресте Любеном Каравеловым.

— Он подхалим! — заорал Мравка.

— Неправда! — сказал Странджа.

— Как неправда? А кто ж он такой?

— Такой же народолобец, как вы. Я видел его в бою... Он храбрец... Зря вы языком болтаете...

— Странджа! — проворчал Хаджия. — По-твоему выходит: «Мы плохие, он хороший»... Не нам, видишь ли, судить!

— Вы тоже по-своему правы, потому что вы, как и я, бедные страдальцы и все презирают вас... значит, вы имеете право сердиться.

Эти слова успокоили на минуту рассерженных сотрапезников.

— Да здравствует Странджа, храбрый наш знаменосец! — крикнул Македонский, поднимая чарку.

— Да здравствует! — подхватили все. — Чокнемся!

И чарки зазвенели. Странджа умилился и, дрожащей рукой поднимая свою чарку, начал взволнованным голосом:

— Благодарю вас за честь, дорогие братья. Нет для меня, старого хэша, большей радости, чем быть среди вас, своих братьев. Народ помнит наши славные битвы в родной Болгарии... Они разбудили народ и разожгли в его сердце жажду свободы и правды. Но вы скажете: а кто нас уважает сегодня? Кто нас признает? Слушайте! Мы люди, мы болгары, мы выполнили свой священный долг перед родиной. Вот и все. А чего же нам еще нужно? Денег? Денег нам не надо, не за деньги проливали мы кровь свою, потому что она дороже всех денег, которые нажили румынские богачи... Имущества мы хотим или домов? Но ведь мы добровольно бросили и свои дома и свое добро. Имущества нам не надо. Мы жертвовали собой за свободу Болгарии, и если получим награду, то этой наградой будет освобождение Болгарии, не больше и не меньше. Конечно, трудно вам голодать и скитаться отверженными по чужой стороне, трудно и мне с моими старыми костями и больной грудью прислуживать в корчме; ведь я когда-то носил знамя со львом, а теперь я, храбрый Странджа, в этой самой руке держу ложку! Обабились мы, старухами стали... Эх, милые братья!..

Все встали, не говоря ни слова.

Странджа снова поднял чарку и продолжал:

— Братья, нам не на что жаловаться. Если мы тут скитаемся и бедствуем, то нашим бедным братьям в Болгарии в тысячу раз хуже. Там турки угнетают, раздевают, убивают, позорят людей, и народ в отчаянии стонет под игом рабства, не зная, что делать. Мы хотя бы свободны. А если мы свободны, мы имеем все. Не надо отчаиваться. Пока у нас есть руки и ноги, есть кровь в жилах и огонь в сердцах, мы нужны своему отечеству. Не сегодня, так завтра снова пробьет час. Нам опять надо готовиться, и я, старик, опять возьму знамя и хоть раз да подниму его на Балканах, а тогда уж и умру! Может, нам еще долго суждено страдать, может, долго еще придется ждать, долго придется гнить и умирать на румынской земле. Но ничего. Народ, который не приносит жертв, — не народ. В Болгарии весь народ в рабстве, так

пусть и у нас здесь будет несколько мучеников, а быть хэшем — это значит голодать, бороться — словом, быть мучеником. Если мы и впрямь мученики, пускай. Чем больше таких, тем лучше для Болгарии. Но кончаю. Сдается мне, что времена изменятся: скоро начнется восстание, и руки наши тогда не останутся праздными, а наши сердца забьются, и мы воскликнем: «Смерть или свобода!» И мы не издохнем, как собаки, на этих улицах, а умрем со славой, в борьбе. Мы еще поборемся, дорогие братья! Мы будем биться за свободу Болгарии! Да здравствует Болгария!..

Раздались громкие восторженные возгласы — все как один повторили последние слова знаменосца. Корчма задрожала от этих кликов. У людей горели глаза, а в глазах этих светилось пламя бескорыстного патриотизма, иначе говоря — самоотвержения. Снова наполнились чарки. И сразу стало заметно, как воспрянули души и сердца. Все эти лица, еще недавно грубые и свирепые, сразу же приобрели выражение какого-то благородства и решимости. Прохожие, услышав громкие крики «Да здравствует Болгария!», останавливались, теснились у двери и впивались любопытными взглядами в темную корчму. Брычков весь дрожал от умиления и восторга. Ему хотелось обнять этих странных людей, которые так сильно привлекали его и своей самобытностью и своей гордостью. Он видел в них воплощение высокой мысли. Ему казалось, что они не похожи на других смертных, что они высшие существа, рожденные для страдания, для борьбы и славы. Даже Македонский, на которого он сердился с утра, показался ему сейчас благородным, большим человеком. А слова Странджи, сильные и трогательные, еще звенели у него в ушах. Он взял чарку и, как только на минуту водворилась тишина, крикнул ясным и звонким голосом:

— Юнаки! Да здравствует храбрый Странджа!

— Да здравствует! — закричали все. — Поднимем знаменосца, поднимем!

И несколько пар жилистых рук высоко подняли взволнованного и растроганного старого знаменосца. Глаза у Брыčkова горели, щеки пылали, все тело его трепетало от восторга. Здравница, провозглашенная им под влиянием внезапного побуждения, обратила на него всеобщее внимание. Все смотрели на него с удивлением. Он понравился хэшам. Странджа окинул его несколько раз проникновенным взглядом.

Вдруг Македонский поднял чарку и сказал с пафосом:

— Господа, Брычков вчера приехал из Турции, так как его благородное сердце больше не могло терпеть деспотизм наших врагов, угнетающих нас вот уже пять столетий. Он пришел к нам, чтобы делить с нами кусок хлеба, голод и страдания. Он поступил, как мы. Он наш брат и достойный сын матери-Болгарии. Итак, я пью за нашего младшего товарища Брыčkова: да здравствует Брычков!

— Да здравствует! — громко отозвались все.

— Да здравствует болгарская молодежь! Качать его, качать!

И десять рук подняли смущенного и взволнованного Брычкова до потолка.

Это было как бы посвящением Брычкова в хэши.

Большие чувства и воспоминания пробудились сейчас в душах сподвижников Хаджи Димитра, Тотю, Панайота. Сильному волнению нужен был исход, оно должно было вылиться из стесненных, стучащих юнацких сердец.

И грянула песня:

«Труба гремит, Балканы стонут»<sup>14</sup>.

Мужественные звуки этой народной песни (как тогда называли все патриотические песни, которые тайно распространялись в рукописном виде и звучали по всей Болгарии) наполнили всю корчму, вылились на улицу, полетели дальше. Казалось, что узкий вход в этот подвал — отверстие таинственной пещеры и оттуда слышатся демонические голоса каких-то «медногласых бойцов» из «Илиады» Гомера. У порога корчмы собралась большая толпа, которая непрерывно увеличивалась. А дружина хэшей вдохновенно продолжала петь. Сам Странджа присоединился к хору, а когда запели: «Ах, любезное отечество, за тебя я буду биться!» — он совсем разволновался и с налитыми кровью глазами схватился за револьвер, торчавший у него за кушаком. Когда допели последнюю строфу, дружина снова села за стол. Лица у всех стали более спокойными. Словно какая-то отрада и утешение покрыли целительным бальзамом душевные раны скитальцев.

Толпа разошлась, и до подвала донеслись слова кого-то из зрителей-румын:

— Булгари беци!

Это означало «Пьяные болгары!»

Но вот на верхней ступеньке лестницы появился бледный молодой человек, одетый довольно изящно, в цилиндре и с тростью в руке.

— А! Владиков! — закричали хэши.

Владиков одно время был добровольцем болгарской легии<sup>15</sup> Раковского в Белграде, потом хэшем в чете Панайота, которая бродила по Стара-планине, потом долго скитался по румынским городам и весям, а теперь преподавал в болгарском училище в Браиле.

— Доброго вам веселья, ребята, — весело и непринужденно проговорил Владиков, ставя свой блестящий цилиндр на залитый вином стол. — Слушай, Странджа, я вижу, мой головной убор опять

---

14 «Труба гремит, Балканы стонут» — начальная строка своеобразного народного варианта известного стихотворения болгарского поэта-возрожденца Добри Чинтулова (1822–1886); стихотворение это стало во время Апрельского восстания своего рода гимном национально-освободительного движения.

15 ...добровольцем болгарской легии. — Имеется в виду организованная в качестве ядра будущей революционно-освободительной армии Г. С. Раковским в Белграде в 1862 г. добровольческая болгарская легия, насчитывающая до восьмисот бойцов. Легия принимала участие в осаде турецкой крепости в Белграде, после урегулирования конфликта между Сербией и Турцией была распущена по настоянию сербского княжеского правительства, обеспокоенного революционно-демократическим характером ее политических задач.

потерпит урон в твоей корчме. Ну, как, балуешь ребят, а? Кстати, вы знаете, зачем я пришел?

— Затем, чтобы мы угостили тебя чаркой, — сказал Македонский, наливая ему вина.

— Ну, за ваше здоровье! Но я пришел не для этого. Я собираюсь на будущей неделе устроить спектакль в училище. Кто из вас хочет участвовать в нем?

— А что, спектакль дается с народной целью? Если так, я приму участие, — ответил Хаджия.

— Конечно, с народной целью, еще бы! Дело в том... что нам надо собрать достаточную сумму денег на расходы одному человеку... — Владиков опасливо, но с важным видом оглянулся кругом. — Человеку, которого мы пошлем убить султана, — закончил он совсем тихо. Потом шепотом объяснил, какое огромное значение может иметь это убийство для болгарской революции.

— Принято! Все будем играть.

— Я буду играть, но только царя, — сказал Македонский, который однажды исполнял роль царя, не помню уж в какой драме Войникова<sup>16</sup>. Ему снова захотелось почувствовать трепетное очарование царского величия.

— А я буду играть воеводу, — скромно проговорил Мравка, — ведь в спектакле, наверное, будет воевода?

— Не будет ни царя, ни воеводы; ставить будем драму «Похищенная Станка»<sup>17</sup>.

— А ну их к черту — и похищенную Станку и пропащую Лалку! Я в таких бабских игрищах участия не принимаю! — раскричался Македонский, впервые слышавший об этой драме.

— Ты можешь играть гайдука Желю.

— А что, разве там будет гайдук?

— Будет и кровопролитие, и бой, и стрельба...

— Вот это я люблю, — заметил Македонский, крутя левый ус с кровожадным видом.

— Ты, Хаджия, будешь играть татарина.

— Ладно, — согласился Хаджия. — В «Стояне-воеводе»<sup>18</sup> я был арапом, а теперь буду татарин. Это как-никак приятней.

— А ты, Мравка... тебе я дам... какую роль хочешь играть?

— Какую-нибудь, чтобы командовать, — скромно проговорил

---

16 Войников — Добри Попов Войников (1833–1878) — один из первых болгарских писателей, создатель болгарского национального театра и драмы, автор ряда историко-патриотических драм, в частности, исторической драмы «Райна-княгиня» (1866), пользовавшихся огромным успехом на болгарской любительской сцене в 60–70-х гг. и сыгравших большую роль в идейной борьбе с султанским режимом.

17 «Похищенная Станка» — известная патриотическая повесть болгарского писателя-просветителя Илии Блыскова («Изгубената Станка», 1866). В драматическом переложении Б. Манчева (1870) с большим успехом шла на болгарской сцене.

18 «Стоян-воевода» — народно-героическая драма из истории гайдуцкой борьбы в Болгарии (1866), принадлежащая, по всей вероятности, перу Д. Войникова.

Мравка.

— Дадим тебе роль старухи, потому что ты сутуловат и маленького роста. Да и голос у тебя подходящий... Ну что ты на меня уставился? Роль старухи одна из главных. Я буду играть старца. Ты, Димитро, возьми роль Йовы, а ты, Недов, — Василия, а вы, остальные, разберете второстепенные, маленькие роли...

— А Станку кто будет играть? — внезапно спросил Странджа, который был знаком с болгарской драматургической литературой.

— Станку?

— Да, Станку, девушку...

— Как? В драме есть и девушка? — спросил свирепый Македонский.

— Да-а, — задумчиво протянул Владиков, — о главном-то я и позабыл.

Потом обежал взглядом всю дружину и добавил:

— Пусть ее играет какой-нибудь мужчина, только помоложе, который...

Тут учитель оборвал свою речь, так как взгляд его упал на Брычкова. С этим юношей он не был знаком.

Брычков вспыхнул.

— Ах, что ж это я не догадался... познакомить вас, — быстро проговорил Македонский. — Брычков, Владиков.

— Как, да вы, кажется, поэт? — с удивлением спросил Владиков, протягивая и пожимая руку Брычкову. — Я читал наши поэмы... Ведь это ваши поэмы, да?

Брычков покраснел еще гуще и в смущении пролепетал:

— Мои... но это пустяки...

— Очень, очень рад, что мы познакомились. Когда пожаловали сюда?

— Он вчера приехал, — объяснил Македонский, — и хоть пришел не из балканских ущелий, как мы, а из отцовского магазина, но он славный хэш. Он уже наш приятель, подружился со всеми нами... Так он поэт, а? Матушки, а я этого и не знал нынче утром, когда так ощипал его... — пробормотал он еле слышно. — Но все равно, мы его не покинем.

— Итак, господин Брычков, вы будете играть роль Станки? — спросил Владиков. — Тут у нас женщины не соглашаются играть в любительских спектаклях.

— Принимаю ваше предложение с благодарностью, хоть я и не девушка, — ответил Брычков,

— Ничего. Когда мы тебя переоденем да принарядим, никто тебя не узнает. Немножко замажем белилами черные волосы у тебя под носом, и дело с концом.

— Ну, конечно, — сказал Македонский, — какие у него усы? Один пух. Совсем незаметные. А помнишь в прошлом году? Наш Гица играл княгиню Райну<sup>19</sup>, и хоть усища у него, как у полевого сторожа, а

---

19 «Княгиня Райна» — дочь болгарского царя Петра (927–970), невеста киевского князя Светослава;

отлично сошел за Райну. В театре на такие вещи не обращают внимания.

Брычков, который ненадолго задумался, рассмеялся.

— Чему вы смеетесь?

— Знаете, — ответил юноша, почесывая затылок и щурясь, — я думаю о цели этого спектакля. Цель поистине грандиозная.

— Именно такая, поверь, — отозвался Владиков.

— И если все удастся, — продолжал Брычков, — и если сбор с нашего спектакля поможет достичь этой цели, история когда-нибудь расскажет о том, как похищенная Станка убила султана Азиза<sup>20</sup>. Не так ли?

— Почем знать? Может, история об этом и расскажет... ведь она рассказывает нам о таких необычайных делах, что всему приходится верить. Иные большие события происходят по ничтожным причинам... даже вот этот подвал может расшатать целую империю; но я, по правде сказать, думаю, как все это у нас выйдет?

Странджа подошел к учителю.

— А обо мне ты и позабыл, — сказал он: знаменосец тоже хотел стать участником великого события.

— Ты? И ты хочешь участвовать? Тогда стой за буфетом... только и тебе понадобится другой костюм... в этом грязном кожухе нельзя... Да и эти шрамы на щеках от сабельных ударов... Чего доброго, какая-нибудь нервная дама в обморок от них упадет... Эх, бедный мой Странджа, лучше бы мне увидеть тебя со знаменем на Стара-планине — вот где твоя сцена...

В тот же вечер всем роздали роли, и через неделю начались репетиции, причем репетировали каждый вечер. Еще через неделю труппа была уже готова к спектаклю и по улицам расклеили афиши.

А султан Абдул-Азиз еще ничего не знал об этом.

## IV

Вскоре настал вечер спектакля. Зрительный зал, или точнее просторный вестибюль, задешево снятый в частном доме, был уже освещен — по стенам развесили и зажгли дюжину фонариков; перед сценой, там, где предстояло сидеть оркестру, состоящему из румынских цыган-скрипачей, поставили в качестве предметов роскоши пять ламп (из них две с надтреснутыми стеклами), вероятно, принесенных из школы. Над входом в вестибюль висело четыре бумажных фонаря, освещавших место, где продавали билеты и был устроен буфет, у которого благопристойно стоял Странджа. Зрительный зал не был украшен ничем. Большую часть его площади

---

главное действующее лицо исторической драмы Д. Войникова «Райна-княгиня», созданной на сюжет повести русского писателя А. Ф. Вельтмана «Райна, королева болгарская» (1844).

20 Султан Азиз. — Султан Абдул-Азиз; занимал турецкий престол с 1861 по 1876 г. Покушение на его жизнь подготавливалось болгарскими революционерами Ст. Заимовым и Г. Бенковским в 1875 г.

занимали стоявшие длинными рядами стулья с наклеенными пленники номерами. Посередине оставили узкий проход для зрителей. В задней части зала осталось пустое пространство, где, как на галерее настоящего театра, зрителям предоставлялась возможность смотреть спектакль стоя. Огромный занавес, сшитый из красной прозрачной ткани, поднимался при помощи самого нехитрого приспособления: к двум его нижним углам были привязаны две веревки, перекинутые через перекладину, находившуюся над сценой, и когда за эти веревки тянули, занавес поднимался; когда же его надо было опустить, с двух сторон таинственным образом появлялись чьи-то руки и опускали ткань до полу. Ее прозрачность позволяла зрителям видеть не один спектакль, но два, ибо, когда занавес поднимался, публика смотрела на игру актеров, когда же он опускался, она любовалась новым зрелищем — игрой теней на ткани: откуда ни возьмись, возникало и перемещалось пламя свечей, мелькали машущие вверх-вниз руки каких-то невидимых великанов и другие бесчисленные фантастические фигуры и силуэты.

Но перейдем за занавес.

С обеих сторон сцены были оставлены узкие проходы, где актеры переодевались и складывали свои костюмы. Эти проходы служили примерными. Здесь, кроме того, были как попало свалены всевозможные принадлежности театрального реквизита: стулья, скамеечки, зеленые ветки, долженствовавшие изображать лес, большой глиняный кувшин, каравай хлеба, лук и брынза (обед старца) и целый арсенал ружей, пистолетов, револьверов, сабель, ножей, потребных для боя. Все это смертоносное оружие принадлежало самим актерам, горевшим желанием разить врага. Следует заметить, что Македонский зарядил свое арнаутское ружье огромным зарядом (правда, состоявшим только из пороха и тряпок), чтобы ружье стреляло как можно громче. Этого ему хотелось больше всего. Сам он уже был в полном гайдуцком параде: к поясу его была пристегнута та самая знаменитая сабля, которой он (по преданию) рассек надвое и турка и турчанку, на голове — баранья шапка с кокардой в виде льва, на спине арнаутский красный минтан, за кушаком четыре патронташа, два ножа и два пистолета; белые шопские шаровары, царвули, сума, свисающая на бедро, и огниво, — все это ветхое, изношенное, — дополняли его разбойничий наряд. Хаджия, игравший роль татарина, раздобыл где-то старый колпак, какие носили румынские помещики в прошлом веке, и, обмотав его белым платком, надвинул себе на лоб, усердно вымазанный сажей, как, впрочем, и все лицо, а над верхней губой приклеил пышные черные усы. Все это придавало ему вид какого-то древнего страшилища. Мравка, превратившись в старуху, сунул себе за спину под платье подушку, дабы придать побольше трагичности своему сценическому облику. Нечего и говорить, что сам Владиков «отпустил» себе длинную белую бороду из козьей шерсти, которая держалась при помощи двух веревочек, завязанных на его темени; но борода сразу же стала съезжать на сторону и неприятно



лезла в рот актеру, поэтому он другой бечевкой притянул ее нижний конец к шее. Брычков, игравший роль Станки, нарумянился и набелился. Прочие действующие лица нацепили на себя побольше всяких лохмотьев, полагая, что, чем оборваннее и безобразнее будут выглядеть исполнители трагедийных ролей, тем больший интерес они возбудят. Поэтому все они не преминули познакомиться со старьевщиками и взять у них напрокат всевозможные отрепья. Впрочем, необходимость экономить повлияла как на подбор костюмов, так и на выбор зрительного зала и декораций, которые, как уж известно читателям, отличались совершенно спартанской скромностью. По тем же соображениям была выбрана и пьеса. Наконец, поскольку по ходу действия за сценой должен был реветь осел, эту обязанность возложили на Хаджию, голос которого для этого вполне подходил.

И вот зрительный зал стал постепенно наполняться. Все богатые торговцы болгары спешили занять свои места, за которые уплатили два дня назад. Холостые приходили в одиночку, семейные со всеми своими домочадцами. Пришли и небогатые люди, и бедняки, и даже нищие. Словом, здесь сошлись все болгары, которые жили в этом чужом городе; у кого в сердце зияла рана, кто тосковал по своей утраченной родине; все, кто тайно хранил в глубине души вечно живой и вечно сладостный образ Болгарии. Ведь среди забот и непрестанной борьбы за существование, среди людей чужих, равнодушных, а подчас и враждебных, душа болгарина изголодалась по какой-то неземной пище, по какому-то новому освежающему волнению, которое некогда пробуждалось в нем, когда, поднявшись на вершину дикой горы, он, бывало, смотрел вниз, на цветущую долину, в которой родился. Вот почему в те времена любительские спектакли болгар в румынских городах были для их соотечественников большими событиями.

Наконец, ряды стульев заполнились, и в зале стало шумно от разноголосого говора зрителей, нетерпеливо ожидавших, чтобы поднялся занавес. Многие говорили о пьесе: ведь это была инсценировка популярной повести, уже вызвавшей немало слез и вздохов. Громче всех звучал голос болгарина, который вместе с семьей сидел в первом ряду. Это был известный патриот, господин Дочкович. Он неустанно поддерживал освободительное движение, и это уже привело в расстройство его торговые дела. Но он не раскаивался, и все болгары уважали его.

— Матильда, — сказал он своей миловидной белокурой дочке, глядя ее по головке, — сейчас ты увидишь, как татары похищают девушку. Ты не испугаешься?

Матильда промолчала. Она пристально смотрела на красный занавес, по которому мелькали странные бесформенные тени. Это зрелище очень занимало ее; она вынула пальчик изо рта, подняла хорошенькую головку и, показав на занавес, сказала отцу:

— Упырь!

Мать ее усмехнулась и поцеловала дочурку в лоб.

— Цыпленочек мой, — проговорила она, с любовью глядя на дочку. Потом повернулась к мужу и спросила: — Никола, а что, этот проклятый Македонский опять будет играть?

— Македонский играть будет, но Македонский не проклятый, — ответил ей муж и нахмурился, — не знаю, как можешь ты называть проклятыми народолюбцев, которые жертвуют собой для родины.

— Я хотела сказать — не проклятый, а страшный... ишь какие у него усищи, ну прямо разбойник, — смущенно поправились жена.

— В теперешние времена бывшие разбойники стали честными людьми. Чорбаджии — вот кто истинные разбойники.

Он нервно поморщился. Должно быть, в уме его возникла какая-то горькая мысль. Может быть, он подумал, что и его, человека разоряющегося, жертву нерасчетливого патриотизма, теперь где-нибудь честят, как кому в голову взбредет, и смеются над его положением.

В это время заиграл оркестр. Края занавеса отдернулись с обеих сторон, а из-за них украдкой выглянули две головы и обратили взоры на публику. Одна голова была украшена высокой бараньей шапкой и длинной белой бородой из козьей шерсти. Другая — длинными закрученными усами и лукавыми, пронизательными глазами. Многие зрители, всмотревшись повнимательней, узнали актеров, а те любезно улыбнулись им. Даже Владиков кивком поздоровался с господином Дочковичем, и тот ласково ответил ему на приветствие.

Македонский, жаждавший выйти на сцену как можно скорее, махнул рукой, и скрипачи умолкли.

Воцарилась полная тишина.

Занавес сморщился и стал подниматься. Спектакль начался.

Первым вышел на сцену Владиков, игравший роль старца. Он двигался смело и непринужденно. Ведь он уже не раз участвовал в подобных любительских представлениях. Но говорить ему было трудновато. Он произносил слова нечисто и в нос, так как бечевки, которыми была подвязана его фальшивая борода, мешали ему открывать рот. Особенно туго ему пришлось во втором акте, во время обеда в лесу. Он так жутко кривил рот, что вызывал и смех и жалость. Большое впечатление произвел Хаджия в своем старинном колпаке и с лицом, вымазанным сажей. Несколько дам при виде его даже зажмурились, а дочурка господина Дочковича прижалась к отцу и прошептала: «Страшно!» Но когда заревел осел, в театре разразилась целая буря рукоплесканий. Поистине настало торжество Хаджии (это он ревел за кулисами). Брычков в роли Станки был ни жив ни мертв; первый раз в жизни представ перед публикой, он растерялся и забыл слова своей роли. К счастью, она была немногословной, так что он просто стоял как истукан, немой, застывший, весь дрожа. Старуха (иначе говоря, Мравка) тоже забыла свою роль, но приход татар оказался для нее якорем спасения. Она пала мертвой раньше, чем враги успели замахнуться, чтобы ее зарубить. Тем не менее зрители

восторженно аплодировали и топали ногами. Все были довольны. Наибольшее впечатление произвел Македонский. Появление его встретили новыми рукоплесканиями. Эпизоды быстро сменяли друг друга. Мелькали и исчезали нелепые костюмы. Интерес публики все возрастал. На сцене давно уже воцарилась путаница и актеры говорили что в голову взбредет. Но разгоревшийся бой затмил все, что было раньше. Началось со стрельбы. Татары сражались с болгарами. Македонский, косматый, свирепый, кровожадный, метался по сцене и с молниеносной быстротой стрелял из всех своих ружей, пистолетов и револьверов; его примеру следовали остальные. Пальба и крики, раздававшиеся на сцене и в зале, были слышны на улице. Пороховой дым заполнил весь театр, и зрители задыхались от запаха серы. Многие деликатные дамы приложили платки к губам, некоторые побледнели и выбежали вон. Дочурка господина Дочковича громко плакала. Всю сцену заволочло густыми клубами дыма. Испуганные адским грохотом, в зал ворвались полицейские. Но они были бессильны прекратить бой. Македонский, пыхтя, носился, как безумный, по сцене, прицеливался, прятался в засаде, выскакивал из нее, вопил, стрелял. В нем ожил гайдуцкий дух. Он забыл, что играет роль. Ему казалось, что он на Стара-планине с товарищами. В пылу боя он сбил с ног нескольких человек, в том числе Мравку, который снова вышел на сцену неизвестно зачем. Сам Странджа бросил свой буфет, вышел на середину зала и, бледный, взволнованный, но все глаза смотрел на бой, восторженно и завистливо. В разгаре суматохи он не утерпел и громко крикнул:

— Держись, Македонский!

Но никто его не услышал. Зрители были оглушены шумом, ослеплены дымом. Раздались неистовые, бешеные рукоплескания...

Бой кончился лишь тогда, когда запас снарядов истощился.

Последнее действие проходило мирно, к великому горю Македонского, который жаждал крови. Наконец, публика наградила актеров последним громом рукоплесканий, трижды вызвала их и шумно устремилась к выходу.

Немного погодя в зале, где произошло столько знаменательных событий, стало тихо и темно, а хэши-актеры уже сидели за длинным столом в подвале знаменосца. Некоторые забыли снять свои театральные костюмы. Брычков так и не смыл с лица Станкиных румян, а Хаджия — татарской сажи. Но никто на это не обращал внимания. Все были в восторге, все волновались и тяжело дышали. Македонский, упоенный своей победой, никак не мог утихомириться и все бросал враждебные и угрожающие взгляды на Хаджию.

Странджа всем поставил угощение, в том числе несколько бутылок вина. Начался ужин. Говорили только о спектакле. Хвалили, критиковали, шутили, смеялись. Все были веселы. А веселей всех — Странджа. Он похвалил Македонского за храбрость, но отметил несколько сделанных им стратегических ошибок. Намекнул даже, что, если спектакль будут ставить снова, он, Странджа, желал бы играть

роль гайдука Желю. На это Македонский поморщился.

Когда опустели котелки, блюда и непроданные в буфете, вернувшиеся в подвал бутылки, Македонский, пуще прежнего преисполненный уверенностью в своем превосходстве, крикнул:

— Ребята, предлагаю пойти к Штраусу — привезли пильзенское пиво.

— Идем! Я туда девять месяцев не заглядывал.

— Идем, идем... скорей — одна нога здесь, другая там!

— До свиданья, Странджа! Хочешь и ты пойти за компанию?

— Прощай, Странджа, спокойной ночи!

— Доброго вам веселья!

И вся дружина высыпала из корчмы.

Вскоре на улице грянула дружная громкая песня и мало-помалу затихла в темной ночной дали.

Наутро от сбора со спектакля не осталось ничего.

Султан Абдул-Азиз был спасен.

## V

Прошло две недели. Македонский куда-то исчез, и о нем не было ни слуху ни духу. Брычков, ранее существовавший на своеобразно проявляющуюся благотворительность Македонского, сразу остался без средств, обреченный на первостепенное и самое тяжкое из всех лишений — голод. Впервые после того, как он столь легкомысленно покинул отчий дом, почувствовал он все неприятные стороны своего нового пути, который казался таким интересным и заманчивым его молодому пылкому уму. Два-три дня он, как Хаджия и Попик, питался в долг у Странджи, но Странджа внезапно заболел и слег, так что Брычкову, Хаджии и Попику пришлось голодать. Погас в очаге огонь, на котором раньше весело булькала бобовая похлебка: миски, кувшины, чарки в беспорядке валялись немые на лавках, и их уже покрыл толстый слой пыли. Мерзость запустения воцарилась в корчме, еще недавно столь многолюдной и шумной. Хаджия ушел, говоря, что хочет попросить денег у какого-то богача, но не вернулся. Должно быть, ничего не удалось добыть. Голодный Попик ждал его два дня в корчме, потом тоже ушел искать счастья. Остался один Брычков. Он решил ухаживать за больным Странджей. Не мог он бросить эту юнацкую душу, не то чтобы без средств — ведь средств у юноши не было, — но без нравственной поддержки. Странджа только надсадно кашлял и задыхался, но не хотел, да и не мог ничего есть. Отсутствие аппетита у больного, пожалуй, даже радовало Брычкова — стоически перенося голод, он был бы не в силах видеть, как голодает умирающий. А лицо Странджи и правда день ото дня становилось все более изможденным и покрывалось мертвенной бледностью; глаза его глубоко запали, стали совсем прозрачными и необыкновенно блестящими, а старые шрамы на щеках посинели, потом потемнели. Странджа, бывший все время в полном сознании, видел преданность

Брычкова, и порой скудные слезы капали из его глаз. Он часто рассказывал что-нибудь юноше. Чаще всего про битвы на Старопланине. Воспоминания об этих славных днях приносили ему некоторое облегчение. Сознывая, что жить ему осталось недолго, он вооружился гордым терпением и ждал смерть, как гостью. Горевал он только о том, что придется ему встретить ее здесь, в корчме, а не в бою. Иногда мысли его обращались к близким. Он вспоминал о родных, потом снова начинал говорить о своих давних приключениях. Брычков слушал его с благоговением. Он принимал, как священный завет, каждое слово, исходившее из бледных уст старого героя, который теперь уже говорил все реже и реже, а страдал все больше, так как болезнь безжалостно убивала его. Брычков не отходил от его ложа.

— Слушай, юнак, — сказал ему однажды Странджа, — спасибо тебе... спасибо... что не бросил меня. Вот теперь умру у болгарина на руках, и есть кому закрыть мне глаза... А это дорого, когда умираешь на чужой стороне. О родина!..

— Не волнуйся! — прошептал Брычков. — Успокойся, прошу тебя!

— Спасибо тебе, спасибо, брат! Я скоро уйду: не будет меня больше на свете.

— Но твое имя останется славным именем. Ты герой.

— Ах, Брычков!

— Ты счастлив хоть тем, что если умрешь, то умрешь с этими шрамами на лбу, с этими прекрасными воспоминаниями в сердце... Болгария никогда не забудет своих храбрых сыновей.

Странджа прослезился. Он протянул свои костлявые руки и крепко сжал пальцы Брычкова. Ему приятно было слышать слова утешения, когда его покидала надежда.

— Слушай, Брычков, — сказал он снова, бросая вокруг рассеянный взгляд, — не знаю, чем тебе отплатить! У меня ничего нет. Ничего, ничего нет... кроме глиняных мисок, а они ничего не стоят. Нечего мне тебе оставить на память.

— Ты оставишь мне свой пример.

— Да, вспомнил: есть у меня узелок на дне сундука. Давно он лежит там. В узелок этот я спрятал две драгоценные вещи. Пусть они будут дороги и тебе, Брычков! А где мои товарищи? Где Македонский? Где Хаджия? Ступай, юнак, приведи их, чтобы мне повидаться с ними перед смертью... Ах, сладко умереть за отечество!..

Брычков тихонько поднялся, открыл сундук и стал одну за другой вынимать все лежащие в нем вещи. Наконец он достал со дна узелок, в который было завернуто что-то мягкое. Юноша осторожно развязал платок и вынул какую-то бумагу, потом тряпку. Бумага оказалась листовкой, изданной в 1867 году Революционным комитетом. Тряпка была клоком от старого знамени; на ней остались только слова: «...или смерть!»

Драгоценные документы!

Брычков содрогнулся.

Странджа приподнялся и сказал:

— Дай, Брычков!

И, взяв в руки бумагу и клочок знамени, поцеловал их. Потом проговорил слабым прерывающимся голосом:

— Прими их от меня! Не забывай Странджи! Отдай свою жизнь за Болгарию!

Он умер через два дня.

Брычков закрыл ему глаза. Он продал посуду и бутылки, чтобы уплатить за погребение. Один лишь он проводил Странджу до могилы.

Так угасали предтечи зари болгарского освобождения.

## VI

Брычков скитался по Браиле. Из прежних своих знакомых он отыскал только Хаджию. Хаджия ночевал в лачужке одного кирпичника. Он приютил и Брычкова. Днем Хаджия работал на пристани; вечером приходил и делился хлебом с товарищем. Но не всегда мог Хаджия получить работу, иначе говоря, хлеб. Зимой на пристани работы было очень мало. Тогда они голодали оба.

— Почему ты не напишешь отцу, чтобы он прислал тебе денег? — спросил, наконец, Хаджия юношу. — Что ж, так все и будешь голодать?

Брычков нахмурился.

— Отцу я не смею писать и не хочу его просить.

— Почему?

— Не могу.

— Почему не можешь? Ты же его сын.

— Стыдно мне.

Хаджия посмотрел на него удивленно.

— Стыдно тебе? А голодать лучше, что ли?

— Лучше... Я его бросил, не спросясь. А теперь написать: отец, дай мне денег! Нет! Не могу... Лучше с голоду умереть...

— Что же ты будешь делать?

— Возьмусь за работу, какая найдется.

— А в Свиштов не вернешься?

— Нельзя — я под подозрением, и турки меня в тюрьму посадят. Лучше уж тут, на свободе.

— Но ты не привык к такой жизни.

— Привыкну... Да и в конце концов может случиться что-нибудь... Я этого жду.

Хаджия вопросительно посмотрел на него.

Брычков покраснел и сказал:

— Если организуется новая чета, я отправлюсь с нею в Болгарию.

— Новая чета? Не верю.

— А я слышал об этом еще в Свиштове. Неужели ты думаешь, что мы больше не будем сражаться?

Хаджия призадумался.

— Если будет новая чета, я тоже в нее вступлю... Кто знает, может и составится. Говорят, что Панайот скоро приедет из Сербии. Может, за тем и приедет. Тогда по крайней мере будешь знать, за что умрешь; а эта жизнь — скотская жизнь, — добавил Хаджия и плюнул.

— Где Македонский?

— В Молдавии. Говорят, служит управляющим у какого-то помещика.

— А Попик?

— Попик живет у одного огородника; огородник взял его с условием, что весной Попик поможет ему сажать лук. Другие или работают, или голодают, как мы; не жизнь, а горе. Собачья жизнь. Лучше уж чета. Я еще берегу свое оружие. Не продал его.

Тут Брычков взглянул на него так, словно ему внезапно пришла в голову новая мысль.

— Слушай, какие же мы дураки! Столько дней голодаем, а не видим, что деньги у нас под носом.

Лицо у Хаджии просветлело.

— Где? — спросил он быстро.

Брычков показал на свой костюм.

— Видишь? Пиджак новенький, да и брюки еще хорошие... Я купил их перед тем, как уехать сюда; а часы-то? Получим за них не меньше пятидесяти франков.

Хаджия пришел в восторг.

— Bravo! Ну и ослы мы были!.. То есть... я не смел тебе предложить... Идем, идем!

И, напевая песню «Не надо нам денег, богатства не надо», он бегом потащил Брычкова на грязный базар, где евреи покупали и продавали старье.

Наутро Брычков разгуливал уже в другом костюме. Пиджак неопределенного цвета, обтрепанный по краям и с засаленным воротником; старые штаны, потертые на коленях и внизу подшитые кожей, а вместо ботинок — солдатские сапоги, тяжелые и стоптанные до безобразия. От прежней его одежды осталась только шляпа, подаренная знаменосцем.

Юноша был обтрепан, но зато сыт.

Друзья сразу же переменили свое местожительство. Они сняли комнату с двумя кроватями в дешевой гостинице и стали обедать в ресторане. Каждый день с ними и на их счет обедали один-два хэша. Хаджия даже уплатил одному хэшу маленький долг. Брычков снова стал веселым и довольным. Он сочинил патриотическую песню и по вечерам распевал ее в своей комнате. Если мимо проходила молоденькая горничная, служившая в гостинице, он улыбался и заигрывал с нею. Молодость взяла верх над унынием. Пролетело несколько веселых, очень веселых дней, а с ними улетели и еврейские франки.

Однажды вечером кто-то постучал в дверь.

Брычков, напевавший свою патриотическую песню, умолк и

громко крикнул:

— Войдите!

Вошел хозяин гостиницы. Лицо его было строго.

— Господин, — начал он вежливым, но холодным тоном, — извините, что прервал ваше пение...

— Ничего, ничего, — отозвался Брычков. — Что вам нужно?

Хозяин язвительно рассмеялся.

— Что нужно хозяину гостиницы от постояльцев?.. Вовремя получить плату за комнату — вот что.

Брычков обиженно посмотрел на него.

— Но я вам плачу, сударь!

— Вот уже неделя, как вы ничего не платили. А вы знаете правило — платить надо каждые два дня.

Брыčkова эти слова смутили, но он быстро нашелся:

— Не беспокойся, я тебе уплачу!..

— Чем? Песнями, что ли? Не вижу тут никаких ваших вещей. Извините, господин, но вы обязаны сегодня же вечером заплатить и за себя и за своего товарища... Понятно?.. Нас уже много раз надували, а все хорошие люди, и даже любители пения, вроде вас... Правило такое — надо платить.

Брычков вскипел от возмущения. Он сунул пальцы в жилетный карман, куда раньше положил свои последние четыре франка, но вынул лишь несколько мелких монет.

Тут он опешил...

— Вы мне должны двадцать восемь франков, — холодным тоном проговорил хозяин гостиницы, устремляя неподвижный и бесстрастный взгляд на Брыčkова.

— Меня здесь обокрали! — крикнул юноша.

— Это старые сказки, господин, не впервой мне их слышать... Платите двадцать восемь франков!

— Нет их у меня, чем я тебе заплачу?

В трудное положение попал Брычков. Он невольно взглянул на дверь в надежде, не появится ли Хаджия — надо бы вместе обсудить, что делать. Хозяин гостиницы стоял на пороге, ожидая ответа.

— Платите!

— Нет денег.

— Я вас передам в руки полиции как жулика. Знаю я вас, болгар...

Брычков вспыхнул, кровь бросилась ему в лицо, и он кинулся на хозяина с поднятым кулаком.

— Румынский пес! Я тебе заткну пасть!

И он опустил на плечо хозяина тяжелый кулак.

Хозяин чуть не взвизгнул. Но тут в коридоре застучали быстрые шаги бегущего человека и послышались зловещие крики:

— Фок! Фок! (Пожар! Пожар!)

То кричал во все горло Хаджия, который сейчас и влетел в комнату, еле переводя дух.

Хозяин гостиницы мгновенно вырвался из рук Брыčkова, выбежал



из комнаты и, бледный, перепуганный, помчался без шапки, сам не зная куда. Он решил, что загорелось в одной из комнат гостиницы.

— Фок! Фок! — ревел не своим голосом Хаджия.

С улицы во двор хлынули люди и теперь толкались в полумраке.

— Фок! Фок! Фок! — кричал Хаджия, схватив Брычкова за руку и таща его вниз по лестнице.

Они сбежали во двор, смешались с растерянной толпой и, никем не замеченные, выскользнули из ворот... Фок! Фок! А огня нигде не было...

— Скандал, ну и скандал, — вот были первые слова, которые произнес Брычков, обращаясь к Хаджии, когда спустя полчаса они остановились на противоположном краю города перед воротами дома, в котором жил один огородник-болгарин, — здесь они собирались провести ночь.

— Постучи еще, — сказал Хаджия, потом обернулся и стал всматриваться в темноту, опасаясь погони.

— Однако, черт побери, как это тебе пришло в голову затеять эту комедию? А знаешь, если бы не ты, мне пришлось бы ночевать в кутузке: не было денег, чтобы заплатить по счету, да и румына я хватил кулаком... Э... постой! Слушай-ка, ведь у меня пропали четыре франка, что лежали в жилетном кармане! А я помню, что еще сегодня после обеда они у меня были. Кто-то меня обокрал...

— Хорошо, что напомнил! Это я взял их у тебя, когда ты нынче спал днем.

— Ты?

— И они на пользу пошли: дело в том, что Аслан сегодня зашел в «Париж»<sup>21</sup>, выпил три рюмки ликера, съел три коврижки и проглотил четыре рюмки рома — ведь он, понимаешь, три дня не ел, а в кармане ломаного гроша нет... Уйти из кофейни нельзя... Сидел там с утра до вечера, все ждал... Официанты вертятся вокруг него, словно легавые, — почуяли, что денег у него нету... И как заметили, что он все на дверь смотрит, потребовали уплатить четыре франка. А где их взять? Тут как раз я вхожу; вижу — быть скандалу. Аслан уже лезет в драку. Посылают за полицией... Вся кофейня смотрит в его сторону... Вижу: наш шалопут и тут осрамит и опозорит болгар... Ну, я попросил подождать, — сказал, что сейчас принесу деньги, и отнес туда твои четыре франка...

— Прекрасно сделал. Значит, ты его вызволил?

— Конечно.

— Как и меня — только из другой напасти... Да, скажи мне, Хаджия, как это ты в самое время заметил, что в гостинице вспыхнул пожар?

— Идут открыть нам дверь... Я возвращался из «Парижа» к тебе и еще у входа услышал твой приятный разговор с хозяином... Ну, я тут же придумал, что делать... Видишь, какой я умный — мог бы целой

---

21 В 1872 г. — одна из первоклассных кофейен в Браиле. (Прим. автора)

империей править... Входи!

Маленькая дверь открылась, и приятели вошли в дом.

## VII

Было начало февраля. Из России дули северо-восточные ветры, сковывающие все вокруг жестоким морозом. По одной из безлюдных окраинных улиц Браилы шел Брычков, бледный, задумчивый... Сбежав из гостиницы, они с Хаджией жили на краю города, сначала в заброшенной мельнице, потом в какой-то лачужке с дырявой кровлей и разбитыми окнами. Я сказал «жили», — но нет, там они проводили лишь вторую половину ночи. Остальные часы суток они просиживали в теплых кофейнях, где беседовали о политике и решали «восточный вопрос», чтобы обмануть свой голод. Когда же после полуночи официанты опускали шторы и принимались убирать столики в опустевшем заведении, товарищи с грустью выходили и возвращались в свою холодную хибарку; стуча зубами, они ложились спать с пустым желудком и окоченелыми ногами, — хотя в комнатке и была огромная кирпичная печь, она сурово разевала навстречу приятелям свое черное жерло и дышала на них не благодатным теплом, но невидимым облаком стужи, за что Хаджия каждое утро мстил ей потоком ругательств, усвоенных в самых захолустных румынских харчевнях. Теперь хэши питались через день, съедая лишь один хлебец ценою в десять бани, который Хаджия регулярно приносил три раза в неделю, получая его из милости в какой-то пекарне. Время от времени изобретательному Хаджию удавалось выпросить в кофейне для себя и Брычкова по чашке горячего кофе с молоком. Он даже поигрывал в карты и жульничал искусно, — не хуже Македонского. Выигрыш (а он всегда выигрывал) уходил на табак и на помощь другим неимущим болгарам. Брычков, столь же самолюбивый, сколь и бедный, не мог клянчить. Два раза он по настоянию Хаджию садился писать письмо отцу с просьбой прислать денег и оба раза с ожесточением разорвал написанное. Скитания и нужда еще не успели убить в его душе гордость, благородное и прекрасное качество в счастье, но, увы, бессильное против зимних ветров и головокращения от голода.

Сейчас он шел, глубоко задумавшись.

Вот уже два дня, как арестовали Хаджию — должно быть, за случай в гостинице. И эти два дня у Брычкова не было ни крошки во рту.

Юноша сейчас нес десять экземпляров своей поэмы, запас которых нашел почти нетронутым в одной болгарской лавке, — он собирался продать их каким-нибудь богатым болгарам. Это ему и раньше советовал сделать Хаджия. Но решился он лишь теперь. Нужда заставила его использовать это последнее средство, чтобы не умереть с голода. Душа его яростно восставала против такого способа просить подаяния, способа, как будто «приличного», но все равно унижительного. Время от времени он останавливался, готовый

вернуться домой и бросить свои книжки. Потом снова шел вперед. «Нет, — говорил он себе, — надо идти: ведь я не делаю ничего бесчестного или непристойного. Глупо умирать, как собака, от голода, когда имеешь возможность спастись хоть на некоторое время... Я знаю, во мне что-то есть... я могу быть чем-то полезен; да ведь я и не прошу милостыни ни у кого... Я не крал, стыдиться нечего. Я продаю свои книги, как другие продают свои ткани, как рабочий продает свой труд...» Тут он вспомнил, как недавно в одной кофейне несколько молодых людей хвалили его поэму — то была для него блаженная минута, а богатый болгарин Х. спросил, где можно купить его произведение, о котором отозвался очень лестно. Боже мой! Сколько людей ценят искусство и поэзию!.. Среди них есть и патриоты и очень богатые люди... Что им стоит заплатить болгарину франк за его книжку?.. Ведь это их не разорит. Они платят франк за чашку кофе с ликером, которую утром выпивают в кофейне. А он, Брычков, на этот франк будет жить четыре дня, может быть, даже неделю. В конце концов это болгарская книга, новая, называется она... «Почему бы ее не купить? Нет, я и вправду глуп, — говорил он себе. — Чего я стыжусь? Неужели лучше воровать?» Эти мысли немножко взбодрили Брычкова, и он направился к центру города.

Но он сам себя обманывал. В нем говорил и другой голос — голос униженной гордости и самолюбия. Он чувствовал, хоть и не хотел признать это, что совершает настоящий подвиг; что все это — одно сплошное унижение, выпрашивание подаяния взамен книжки, которая никому не нужна. Он представил себе благосклонный, или сострадательный, или презрительный (все равно, одно не лучше другого) взгляд своего будущего спасителя, и холодный пот выступил у него на лбу.

В тот миг ему показалось, что лучше уж воровать!

Но он не умел воровать!

Между тем в нем заговорил и третий голос, страшный, могущественный, свирепый. То был голос голода, который не слушает никаких доводов, не признает никакой логики.

Брычков, сморщив лоб, ожесточенно скривил рот, яростно почесал затылок, немного подумал, бледный, дрожащий, изменившийся в лице, и издал сквозь зубы какой-то неясный, глухой, тягучий стон.

Потом снова двинулся дальше.

Он быстро прошел мимо городского сада, теперь печального, голого и пустого; прошел несколько узких улиц, на которых прохожих становилось все больше и больше; прошел мимо лавок, харчевен, постоянных дворов, не оборачиваясь, ни на что не глядя, ничего не видя, и вышел на улицу, где находились магазины богатых купцов.

На площади было большое движение. Как ни жесток был мороз, торговля не прекращалась, и эта часть города казалась очень оживленной. Брычков невольно озирался по сторонам, ища глазами какого-нибудь богача. Но взгляд его скоро омрачился, ноги стали

подкашиваться, а на лбу снова выступил пот. Он искал, но в душе вовсе не желал найти своего страшного будущего благодетеля. То ли случайно, то ли от глубокого душевного смятения, но сколько бы он ни озирался, никого он не узнавал. Все лица, попадавшие ему на глаза, казались ему чужими и, как ни странно, милыми! И вот словно гора свалилась у него с плеч. Чувство голода исчезло, и юноша вздохнул с облегчением, словно пробудившись от страшного сна.

— Тем лучше! — сказал он и быстро повернулся, чтобы тронуться в обратный путь.

И вдруг он увидел, что навстречу ему идет тот самый богач Х., который еще недавно выражал ему такое сочувствие. Брычков вздрогнул, на миг остановился в нерешительности, словно собираясь убежать, потом топнул ногой и пробормотал:

— Пускай!

И он пошел навстречу богачу, отделив от стопки книжек один экземпляр своей поэмы и взяв его в другую руку.

Богач Х., закутанный в дорогую шубу, ступил на порог казино, но, заметив Брычкова, который уже подходил, пристально глядя на него, остановился.

Брычков подошел, поздоровался, не снимая шапки, и пролепетал дрожащим голосом человека, которого ведут на суд:

— Господин Х., я, видите ли, принес вам свою книжку... поскольку вы желали... то я...

Голос его пресекся.

Х. протянул руку и взял книжку. Сначала он перелистал ее, потом посмотрел на первую страницу обложки; долго всматривался в титульный лист, внимательно оглядел последнюю страницу обложки, несколько раз кашлянул и, наконец, сказал:

— Хм, хм, значит, это сочинение вашей милости?

— Да.

Х. снова бросил взгляд на обложку, что-то прочел на ней, потом вернул книжку Брычкову и, потирая застывшие руки, проговорил:

— Хорошо, хорошо, господин Брычков... Я спрошу нашу Еленку, может быть, она уже купила эту книжку. Если нет, я потом возьму один экземпляр.

Он с усмешкой поклонился и вошел в казино.

Брычков стоял как вкопанный.

Свет пошел у него кругом, в глазах помутилось. Несколько минут его грубо толкали прохожие, а он только отстранялся и все стоял посреди тротуара. Он посмотрел на свою поэму, в которой излил всю душу, над которой не спал столько ночей, с которой была связана вся его жизнь. И поэма показалась ему такой жалкой, такой ничтожной, такой ненужной... А сам себе он показался таким маленьким, таким смешным!..

И тут самолюбие его взъярилось, как расвирепевший зверь. Какой-то комок застрял у него в горле, лицо пожелтело.

Он бросил книжки на землю и пошел прочь.

Сам не зная куда идет, он шагал к Дунаю.

Дойдя до него, он остановился нерешительно, растерянно.

Огромные льдины плыли по реке, уже замерзшей у берегов... Впереди покрытый снегом болгарский берег казался холодным и неприветливым. Природа, как и душа Брычкова, была исполнена мрачной безнадежности.

И вдруг чей-то голос привел его в себя. Юноша обернулся и увидел Владикова.

— А, Брычков! Что ты тут ищешь? Может, собираешься вызвать на бой Турцию? — весело крикнул учитель и схватил юношу за руку. — Боже мой! Что с тобой? — проговорил он, заметив мертвенную бледность Брычкова.

Брычков бросил на него бесстрастный, холодный взгляд и ничего не сказал.

— Да ты совсем закоченел; пойдём-ка, сейчас узнаем, что пережил наш любезный поэт. — И Владиков повлек Брычкова в ближайшую кофейню.

Выпив чаю и придя в себя, Брычков взволнованно и подробно описал свое положение.

Владиков вскипел:

— Чорбаджии! Толстосумы, ослы бесчувственные! — кричал он с раскрасневшимся от гнева лицом, с силой стуча кулаком по столу. — И ты, Брычков, пошел к ним просить, а они тебе отказали, и ты не знаешь, где жить! Пойдем ко мне домой... Мой дом — твой дом...

— Спасибо, спасибо, Владиков, — проговорил растроганный Брычков.

— Ведь ты ходил за Странджей, пока он не умер — это мне доподлинно известно... И ты сейчас умираешь с голоду, а я об этом и не знал... Ах, о чем ты только думал, что не обратился ко мне?

Владиков бросил растроганный взгляд на Брычкова. Его изможденное лицо, изношенное чуть не до дыр платье и несчастный вид в любом другом человеке вызвали бы жалость; во Владикове они пробудили скорбь.

— И я был в твоём положении, братец; был и в худшем и тоже узнал, что такое унижение... ох, это проклятое унижение! И я уже устал от жизни, от ее грязи, от борьбы за существование. Когда же придет час узнать, зачем мы живем? — мрачно проговорил учитель, входя в свою комнату, из которой веяло приятным теплом.

— Садитесь, Брычков, грейтесь. Какая дьявольская стужа! Петр, неси скорей обед! — крикнул Владиков, вешая на гвоздь свою черную каракулевую шапку и добротную, крытую сукном шубу.

## VIII

С тех пор прошло две недели. Брычков жил у Владикова, который купил ему приличный костюм и кормил его. Он сам долго бедствовал, знал, как тяжело жить в чужой стране, и принимал близко к сердцу

тяготы других людей. Со скорбью смотрел он на Брычкова, которого судьба так рано толкнула на путь нужды, невзгод, борьбы с предрассудками и равнодушием общества — путь, на котором и самые сильные натуры лишь редко могут устоять на ногах и часто, обессилив, падают в грязь.

Однажды, когда Брычков сидел один, кто-то подошел к двери и, не постучавшись, с силой распахнул ее и ввалился в комнату.

То был Македонский.

— Здравствуй, братец! — заорал он и, бросившись к Брычкову, расцеловался с ним. — Где только я не искал тебя целых два дня, а ты здесь нежишься в тепле, словно кошка, а о других и не думаешь... Низкий тебе поклон от Хаджи...

— Как, разве его уже выпустили? — спросил Брычков, обрадованный и взволнованный.

— Выпустили, то есть это я его выпустил позавчера, и сейчас он, живой и здоровый, сидит и читает твои поэмы в нашей лачужке... Черт побери, — проговорил Македонский, оглядывая комнату, — твой разбойник Владиков живет не хуже помещика... а мы там дрожим от холода, словно неоперившиеся цыплята... Но все равно... хорошо, что он хоть тебя приютил... Твое здоровье не вынесло бы румынского холода и румынского голода... Ну как, хорошо тебе здесь, а? Пстой, давай поглядим, что имеется у твоего чревоугодника Владикова? Нет ли тут какой-нибудь колбаски с перчиком...

Македонский подошел к стенному шкафу и, недолго думая, открыл его. А как только достал оттуда большую свиную колбасу, вытащил с кровожадным видом длинный нож и принялся запихивать себе в рот толстые ломти...

— Да ты не хуже дикаря чуешь добычу носом, — с улыбкой заметил Брычков, — смотри только не уничтожь ее всю... А то у тебя брюхо лопнет.

Македонский ожесточенно уплетал колбасу, время от времени подкручивая усы.

Но вот он снова сунул руку в шкаф, извлек оттуда бутылку вина и, жадно припав губами к горлышку, выпил ее одним духом.

— Ты ешь и пьешь, словно Королевич Марко на свадьбе... Только знаешь что? Ты сам уж и отвечай перед Владиковым. Ну, где же ты до сих пор скитался?

Македонский доел последний ломтик похищенной колбасы, отер платком усы и губы, заткнул нож за красный кушак и сказал:

— Откуда я пришел, спрашиваешь? Пришел я из-под Богдана... А почему пришел — потому, что проклятые мамалыжники уволили меня со службы посреди зимы.

— Уволили тебя?

— Скажи лучше — выгнали, как бродягу.

— Опять ты что-то натворил, Македонский, совершил какой-нибудь «молодецкий подвиг». А знаешь, возможно, что у нас тут скоро начнутся славные дела... В Болгарии ведь уже готовятся. Надо и нам

пораскинуть умом... Понимаешь?..

— Ура! — заорал Македонский.

— Нам нужно организовать чету, нам самим... Богатеи противятся, но мы и без них обойдемся... Понимаешь?.. Эта чета пойдет через Сербию...

— Bravo, Брычков! Я сразу сказал, что из тебя выйдет славный хэш! Bravo! В Сербию пойдём, конечно, через Сербию будем проходить. Ведь эти псы агарянские и птице не дают перелететь через «тихий белый Дунай», как ты его называешь в своей книжке... Да, за это придется выпить еще бутылочку...

Он схватил другую бутылку и крикнул:

— Да здравствует свобода!

И выпил все вино до капли.

Брычков покатывался со смеху.

— Ты с твоим дьявольским голодом и жаждой чего доброго уничтожишь продовольствие всей четы. Воздерживайся, Македонский! Помнишь? Ведь твой тезка Александр Македонский умер от невоздержания.

— Ну, значит, я умру, как умирают великие люди. Ты, братец, понятия не имеешь — что это значит поститься пять дней кряду, словно святой Иван Кукузель... Вот уж можно сказать, что если б я умер в один из этих дней, так обязательно попал бы в рай.

Дверь тихонько открылась, и вошел Владиков.

— Хо-о-о, Македонский! Добро пожаловать! Где ты пропадаешь?.. Прямо «Вечный жид»<sup>22</sup> какой-то! — И Владиков горячо пожал руку товарищу, но Македонский этим не удовольствовался и трижды поцеловал его в губы.

— Эге! Да ты уже где-то подвыпил. Ну, как дела? Что нового?

— Низкий тебе поклон от всех молдавских евреев! Слушай, Владиков! Я готов. Брычков рассказал мне про новый план, и я его одобряю... Лучше всего — через Сербию...

— Садись, садись, давай поговорим об этом! — сказал учитель и сел, расставив ноги, на стул перед печкой, в которой буйно пылал огонь.

Но, заметив, что дверца стенного шкафа открыта, а в шкафу пусто, он обернулся к новому гостю и полушутя-полусердито крикнул:

— Слушай, человек! Ты опять меня обобрал!

— Да здравствует коммуна! — заревел Македонский, а глаза его горели и метал молнии.

Владиков вынул из внутреннего кармана уже распечатанное письмо, внимательно перечитал его, сложил и снова спрятал, потом посмотрел на Брычкова, а с него перевел глаза на Македонского и сказал серьезным тоном:

— Вчера пришло второе письмо из Бухареста. Там наши деятельно

---

<sup>22</sup> «Вечный жид». — Речь идет о герое средневековых сказаний, еврее-скитальце Агасфере, осужденном богом на вечную жизнь и скитания за то, что он не дал Христу отдохнуть по пути на Голгофу.

работают; решили, что этой весной необходимо отправить чету в Сербию. Надо всерьез взяться за дело. Панайот сам собирается приехать в Бухарест. Нельзя больше допускать, чтобы народ в Болгарии беспробудно спал. Ни в коем случае. Ты, Македонский, перестань шляться — ни шагу из Браилы. Ты нужен здесь.

Македонский посмотрел на Владикова с удивлением. Его как будто обидели слова учителя.

— Шляюсь я или не шляюсь — это мое дело, — проговорил он довольно хмуро. — Скажите, чего вам от меня нужно. Хотите — приведу Митхада-пашу, связанного по рукам и по ногам... Македонский бежит от голода, но не бежит от смерти. Если вы этого еще не поняли, тем хуже для вас.

И Македонский в гневе стал крутить себе усы.

— Не ерепенься, — серьезно ответил Владиков, — дело важное. Нужно собрать всех ребят и в Браиле и в ее окрестностях, чтобы они присоединились к другим, которых собирают в Бухаресте. Македонский, эта работа как раз для тебя.

— Ладно! Я их соберу и один поведу куда требуется, — сказал Македонский, польщенный миссией, которую на него возложили.

— Значит, ты берешь это на себя, Македонский?

— Конечно.

— А средства откуда получим? — спросил Брычков.

Владиков задумался.

— Об этом в письме не пишут. Черт побери! А в самом деле, кто нам даст средства на то, чтобы прокормить и одеть ребят?..

Македонский напустил на себя таинственный вид и проговорил многозначительным тоном:

— Средства на такие дела не даются, но берутся...

Владиков вопросительно посмотрел на него.

— Я тебя не понимаю...

Македонский нахмурился.

— Если не понимаешь, значит думаешь, что я пьян и сам не знаю, что болтаю...

И, сунув руки в карманы, Македонский сел в угол и совсем приуныл.

Впрочем, так было всегда: всякий раз как он выпивал, у него после первого буйного взрыва веселости наступало угнетенное состояние духа. Так уж он был устроен. Зная это, Владиков перестал обращать на него внимание и заговорил с Брычковым.

Все трое сидели в комнате учителя до вечера. Разговаривали только о новом плане. Македонский, несколько отрезвев, принялся подкреплять доказательствами свое утверждение, что деньги не даются, но берутся... Впрочем, собеседники не пришли ни к какому решению. Но вот Владиков ушел в театр, — одно болгарское семейство пригласило его в свою ложу. Македонский и Брычков остались одни. Они разговаривали еще долго. В конце концов Брычков лег спать и заснул. Македонский все сидел у огня, стиснув голову руками, как



человек, который борется с какой-то неприятной мыслью. Так он просидел до полуночи. Потом встал, взглянул на Брычкова, который спал глубоким сном, тихо сказал ему «спокойной ночи» и вышел на цыпочках.

Когда Брычков проснулся утром, он с удивлением увидел, что Владиков, уже одетый, ходит по комнате, смущенный и расстроенный.

— Брычков! — сказал он, подойдя к лежащему приятелю. — Тут у нас ночью случилось происшествие...

— Происшествие?

— Украли всю мою одежду.

— Да что ты! — вскрикнул Брычков, — А я ничего не слышал... Как? Неужели всю одежду?

— Всю. Когда я вернулся вчера ночью, я увидел, что мой платяной шкаф почти совсем опустел. Когда ушел Македонский?

— Не знаю когда, я заснул раньше.

— Его рук дело. Клянусь, что это Македонский состряпал.

Брычков только раскрыл рот от удивления.

— А этот дурак Петр спал и ничего не слышал. Имей в виду, что вместе с моими костюмами унесли и твой.

— И я остался голым? — спросил Брычков, грустно озираясь.

— И ты и я. Но ничего. Придется пойти поискать этого висельника!..

И Владиков уже надел шапку, взял в руки трость и открыл дверь.

Но тут он столкнулся с Македонским, который уже входил.

— Доброе утро, доброе утро... ранние пташки! — проговорил он, усмехаясь весело и непринужденно.

Владиков смотрел на него сердито и молча,

— И нынче такой же дьявольский мороз, — сказал Македонский и, подойдя к зеркалу, принялся поправлять узел красного платка, который он носил на шее вместо галстука.

Наконец Владиков прервал молчание.

— Македонский, — произнес он негромко, — ты знаешь, что этой ночью меня обокрали?..

Македонский выпучил глаза.

— Украли всю нашу одежду, и мою и Брычкова.

— Прошлой ночью? — спросил с удивленным видом Македонский.

— Да.

— Но я же тут сидел до полуночи.

— Тем более странно, что вещи успели украсть, — ведь я вернулся в половине первого, а их уж и след простыл.

Македонский принялся охать и ахать; он бранил на чем свет стоит безбожников воров; удивлялся, как это он ничего не заметил, и корил себя за то, что не остался здесь на всю ночь; говорил, что если только найдет злодеев, то всю кровь из них выпустит; ругал «мамалыжников» за то, что у них такая дрянная полиция; клялся, что пойдет и обворует спальню полицеймейстера, причем эти «мамалыжники» ничего не заметят; жалел Брычкова, который так близок его сердцу, и вообще

выпаливал тысячи слов, угрожающих и яростных, чтобы выразить свое огорчение столь прискорбным случаем и свой гнев на грабителя.

Спустя полчаса после этой сцены Македонский встретился на одной узкой улочке с неким евреем, приземистым, грязным, горбатым, с длинными свалывшимися пейсами и в засаленном цилиндре.

То был торговец поношенным платьем.

Македонский шептался с ним довольно долго...

Наконец он направился в другую часть города, напевая какую-то гайдуцкую песню.

И вот он вошел в лачужку на окраине, где Попик приютил его так же, как и Хаджию, и застал там обоих своих товарищей. Попик читал вслух Хаджии какую-то рукопись и громко смеялся.

Македонский поздоровался с ними кивком, бросил шапку на небрунные нары, тяжело вздохнул и растянулся на своем ложе.

Немного помолчав, он не утерпел и сказал:

— А вы знаете, что прошлой ночью Владикова обокрали?

Попик перестал читать.

— Что ты говоришь? Не может быть!

— Я только что оттуда. У него украли всю одежду.

— Только и всего! Ну, это не беда. Держу пари, что обокрал его не Зильберштейн, — сказал Хаджия (Зильберштейн был самый крупный торговец готовым платьем в городе).

— Да, но подумай, в какое скверное положение я попал. Пришлось выпалить миллион слов, чтобы убедить его, что я тут ни при чем. Представляешь себе, как мне было неловко.

Хаджия рассмеялся.

— Видишь ли, — проговорил Македонский доверительным тоном, — я до полуночи сидел у него, то есть разговаривал с Брычковым... Брычков тебе кланяется... Ха!.. Да, так вот, значит, я сидел с Брычковым... а Владиков пошел в театр. Да, в театре он, значит, был, Владиков-то... Потом я ушел... И что ты думаешь? — Вору прокрались в дом сразу же после моего ухода и обобрали Владикова до нитки, — да, до нитки... Понимаешь? И представь себе мое положение... ведь когда подозрение падает на честного человека... Да, на честного человека...

И он смачно выругался по-румынски.

Хаджия бросил на него лукавый взгляд, потом сказал Попику:

— Ну, Поп, почитай-ка еще... А ты, Македонский, послушай, какую сатиру написал Поп на Петреску.

— То есть на того Петрова, который совсем орумынился? Этого осла нам надо вернуть на путь истинный... Читай, Поп!

Попик по привычке погладил несколько раз свою невидимую бороду, важно посмотрел на дверь и с пафосом начал читать сначала;

Ну-ка, слушай, бай Петреску...

— Как, это в стихах? — вскричал Македонский. Попик с гордостью кивнул и продолжал:

Вот безмозглая башка-то!  
Ты ворона или галка,  
Что торгуешь ты роднею —  
Променял на мамалыгу.  
— Нет, нет... Тут нехорошо выходит, — раскричался Македонский,  
чье поэтическое чувство было оскорблено «своеобразными»  
рифмами, — не ладятся эти стихи!  
Что торгуешь ты народом...  
А как, бишь, другой стих?  
Попик, слегка поморщившись, повторил:  
Вот безмозглая башка-то!  
Ты ворона или галка...  
— Это я слышал, это куда ни шло... — благосклонным тоном  
заметил Македонский.  
Попик продолжал:  
Что торгуешь ты роднею —  
Променял на мамалыгу!..  
.— А это не годится... «Роднею»... «мамалыгу» — нескладно  
получается, — сказал Македонский с уверенностью знатока.  
Но Хаджия возразил:  
— Да нет, что хорошо, то хорошо... как так не ладится? «Роднею-  
у-у»... «мамалыгу-у-у»... видишь — одинаково оканчиваются на «у».  
Продолжай, Попик... дальше еще пойдет лучше.  
Бледное лицо Попика просияло. Погладив свою невидимую  
бороду, он стал читать:  
Свое брюхо — что за скот ты! —  
Напоил бедняцким потом!  
Ну, Петреску...  
— Тсс! — негодуяще зашипел Македонский. — Ты, братец,  
должно быть, учился поэзии по «Святцам»... Прости меня, но даже  
Генко Ладжуняк, что пиликает на скрипке в корчме Барышкова, и тот  
сочиняет лучше тебя...  
На эту издевку Попик обиделся. Он аккуратно сложил бумажку,  
сердито сунул ее за пазуху и проговорил ехидным тоном:  
— Много ты понимаешь в стихах... Прости тебя, господи. Ничего-то  
ты не знаешь!.. В стихах разрешаются всякие вольности. Хочешь,  
прочитаю тебе «О, Былгаррода?»<sup>23</sup> Увидишь, что и настоящие поэты  
так сочиняют... Когда в стихах пишешь — по-всякому можно...  
И Попик быстро вынул из-за пазухи книжку, погладил свою  
невидимую бороду и приготовился читать.  
— Смотрите-ка, Брычков идет, — сказал Хаджия и показал на  
окно.  
Дверь распахнулась, и Брычков вошел, еле переводя дух. Он был  
одет в свой старый заношенный костюм.  
— Ха! Вот и Брычков... пусть он скажет, мастер Попик стихи

---

23 Название одной глупейшей брошюрки в стихах, изданной в Бухаресте. (Прим. автора)

сочинять или нет, — проговорил Македонский.

Брычков поздоровался со всеми, поздравил Хаджию с освобождением из тюрьмы и сказал:

— Господа, я пришел по важным делам.

Македонский взглянул на него с виноватым видом.

— Пришли важные известия, — продолжал Брычков. — Явился к нам посланец из Бухареста. Идем скорее — у Владикова собрание.

Немного погодя все четверо подошли к училищу и ввалились в квартиру учителя.

## IX

Там уже собралось несколько народолюбцев и множество хэшей. На столе перед Владиковым лежали распечатанные письма и стопка номеров газеты «Свобода». Он был серьезен, но не из-за происшествия, случившегося ночью. Серьезны были и лица остальных собравшихся. Очевидно, всех занимал какой-то важный вопрос.

Те, что вошли последними, молча поздоровались и сели.

Владиков повернулся к ним и тихим, растроганным, многозначительным тоном начал:

— Братья, дело важное. Довольно нам скитаться и голодать в чужих краях. Как видно, близится наш час принести пользу дорогому нашему отечеству. Болгария снова нуждается в нас. Придется нам опять подвергнуть себя испытанию. Турецкие тираны стали совершенно бесчеловечными, и терпеть их насилия больше нельзя; вы обо всем этом прочтете в «Свободе». Народ готов подняться и разорвать оковы, в которых тираны и мучители держали его пять столетий. Нам надо только подать ему братскую руку помощи. Правильно я говорю?

— Нужно помочь! — сказал Хаджия.

— Мы должны помочь, — промолвил Попик.

— Война тиранам! — пылко вскричал Македонский.

Владиков одобрительно кивнул и продолжал:

— Сейчас наши в Бухаресте решили, что пора отправить чету в Сербию, а оттуда мы перейдем на нашу милую родину. Явился к нам и посланец. У нас просят содействия. Вы согласны его оказать?

— Все согласны, все!

— Так! Надо теперь созвать всех наших братьев хэшей, где бы они ни были — в городе или в окрестностях, и чем бы они ни занимались — огородничеством или еще чем, — созвать их и объяснить им все так, чтобы они были готовы. Но обязательно надо собрать всех, чтобы мы знали, на чем стоим. Эту работу поручим Македонскому, хорошо?

— Ему, ему, согласны!

Македонский в знак благодарности отдал честь собранию.

— Панайот будет ожидать чету на сербской границе в Кладове, а в

Болгарии, в Софийском округе, комитеты уже подготовили население<sup>24</sup>. Готовы выступить и горожане и крестьяне. Левский сейчас в Русе<sup>25</sup>, у бабушки Тонки<sup>26</sup>. Приехать сюда он не может. Ему надо сообщить вам о многих важных делах, но сам он не имеет возможности это сделать. Посылать письма нельзя; значит, надо нам отправить в Русе человека бесстрашного и памятливого, чтобы Левский сообщил ему все необходимые сведения — о плане и дате восстания, о наиболее важных пунктах и о тысяче других дел. Но для столь ответственного поручения нужен человек смелый и опытный, который сумеет встретиться с Левским в Русе и вернуться так, чтобы этого не пронюхали турки. Как вам известно, дозоры стоят на берегу Дуная через каждые сто шагов. А в Бухаресте сейчас подходящего человека нет, потому что всех самых надежных уже отправили с другими поручениями. Сейчас Дунай подо льдом, и лодки не нужно, — можно пешком перейти с румынского берега на турецкий за одну ночь; но главное — найти подходящего человека... Без указаний Апостола мы работаем во тьме.

— Чтобы среди бухарестских патриотов да не нашлось никого на такое дело — срам! — пробормотал один хэш.

— А может, и правда нету, — отозвался другой.

— Есть, да только никому не хочется совать голову в петлю. Умные они, подлецы... — добавил третий хэш.

— Господа, нам тут не к чему заниматься критикой, — сказал Владиков. — Есть ли у них такой человек, нет ли, этого я не знаю; но нам они заявляют, что нет. А дело и впрямь крайне опасное, и тому, кто на это решится, действительно придется, как только что сказал Христов, «сунуть голову в петлю». Но кто же из нас не пожертвует своей жизнью ради такого святого дела? Покажем, что браильские юнаки не боятся опасности, когда речь идет о благе народа; я уверен, что каждый из нас готов пойти.

Все молчали.

Владиков оглядел товарищей поочередно, чтобы увидеть, не хочет ли кто-нибудь взять слово.

Но все молчали.

— Если кто-нибудь против моего предложения или хочет выдвинуть другое, пускай выскажется!

---

24 ...комитеты уже подготовили население. — Имеются в виду подпольные революционные комитеты, организованные во многих городах и селах Болгарии с начала 70-х гг. и руководимые в их деятельности по подготовке национально-освободительного восстания Болгарским Центральным революционным комитетом в Бухаресте и его уполномоченными («апостолами») во главе с Василем Левским.

25 Русе — крупный портовый город на Дунае, административный центр Дунайского вилайета, важнейший центр национально-освободительного движения. Бабушка Тонка — Тонка Тихова Обретенова, жительница города Русе, курьер БРЦК; укрывала у себя революционных деятелей, оказала огромные услуги болгарскому национально-освободительному движению; четыре ее сына — Никола, Петр, Ангел и Георгий Обретеновы активно участвовали в революционно-освободительной борьбе.

26 Знаменитая старуха патриотка из Русе, недавно умершая. (Прим. автора)

— Нет, мы не против... это нужно сделать, нужно, — слышалось несколько голосов.

И опять все примолкли.

Владиков машинально взял в руки номер «Свободы» и стал что-то читать про себя.

Он, вероятно, хотел дать время товарищам поговорить о том, кого следует выбрать посланцем к Левскому. Некоторые стали шушукаться, но никто не желал высказаться громко.

Положение становилось трудным и для участников собрания и для самого председателя. Кто посмел бы сказать одному из своих товарищей: иди ты и умри! Ведь все понимали, что если послать человека к Левскому необходимо, то переходить Дунай — дело чрезвычайно опасное. Мало было надежды избежать пуль турецкой береговой охраны и спастись от виселицы в Русе.

Прошло еще лишь несколько минут, но всем они показались часами.

Наконец Владиков тихонько положил газету на стол, выпрямился и, бледный, негромко произнес:

— Господа, пойду я.

И сел.

В ответ слышался глухой говор.

— Не согласны, — раздалось несколько голосов.

— Нельзя! Владикову нельзя идти, — отозвались другие.

Внезапно все задвигались. Неистово размахивая руками, хэши принялись с жаром говорить что-то друг другу; у всех загорелись глаза, запыхали щеки. Наступила одна из тех минут, когда рождаются решения.

Владиков опять взял слово:

— Братья, я предлагаю себя в посланцы. Вы согласны? Считаете ли вы меня достойным этой высокой чести?

— Не в этом дело — все достойны умереть за отечество.

— Жребий! — крикнул кто-то.

И сразу же все повторили это слово:

— Жребий! Жребий! Давайте бросать жребий!

— Согласны!

Волнение нарастало. Всем стало легче от того, что был найден выход.

Брычков, все время молчавший, попросил слова.

Снова настала тишина.

— Господа, — начал Брычков, стиснув руки и опустив глаза, — будь знаменосец в живых, он прослезился бы; все мы готовы умереть за свободу нашей милой родины. Болгария еще может гордиться своими храбрыми сынами. Никто не посрамит славного прозвища «хэш»... никто!

— Правильно, правильно, — прервал его кто-то.

Удивленный внезапным волнением, отражавшимся на лице Брыčkова, учитель сделал знак товарищам помолчать.

Брычков продолжал:

— Это правда, что кто возьмется пойти в Русе, тот, так сказать, направится прямо в пасть чудища; можно даже сказать, что он пойдет искать своей смерти. Но когда нам придется идти в бой — а дай бог, чтобы пришлось, — разве мы не пойдем навстречу смерти? Разве в открытом бою с тиранами пули менее опасны, чем на берегу Дуная?

— Это правда — нас повсюду ждет смерть. Ты прав, Брычков, — сказал кто-то.

— Она ждет нас, как мать сына, — добавил другой.

— Как возлюбленная своего возлюбленного, — проговорил Брычков. — По-моему, вопрос тут не в том, кто из нас готов принять мученическую смерть, а в том, кто наиболее способен удачно выполнить поручение. Например, если человек не бывал в Русе; если там у него нет верных друзей, которые могли бы ему помочь в случае нужды; если он не знает, где находится дом бабушки Тонки, этой героини, этой общей «матери» хэшей; если сама она никогда его не видала — как удастся ему встретиться с Левским и не попасть в лапы к туркам? Зачем приносить бесплодные жертвы? По-моему, в этом случае бросать жребий не нужно. Лучше спросить себя по-братски, кто из нас хорошо знает Русе. Если найдем такого человека, он по праву будет удостоен чести отправиться с посланием... И чтобы облегчить нам работу, господа, я предлагаю в посланцы себя, ибо я знаю...

Снова поднялся шум.

— Нет! Я пойду, — вдруг закричал Македонский и вскочил с места. — Брычков не может, Брычков плохо знает Русе; Брычков был там только проездом, Брыčkова заметят, его схватят, повесят!.. А Македонский жил в Русе шесть месяцев. Македонский знает в Русе каждую собаку, он сто раз ел и пил с сыновьями бабушки Тонки; он шесть раз ночевал в доме бабушки Тонки и знает, как туда пройти — и с улицы, и с дороги, и с берега; к тому же Македонский старше Брыčkова на двенадцать лет и не даст себя повесить — словом, это он должен идти, а не Брычков.

Македонский умолк. Лицо его покраснелось. Маленькие серые глаза беспокойно бегали и остро, почти злобно, смотрели на Брыčkова, который сейчас казался ему врагом; а на Владикова он время от времени бросал вызывающий взгляд.

И вдруг все громко закричали:

— Македонский, пусть Македонский идет! Брычков должен ему уступить!

Македонский торжествующе оглядел все собрание, посмотрел многозначительно на Владикова, словно желая сказать: «Видишь, как «шляется» Македонский!»

— Уступаю, — сказал Брычков.

Владиков взял слово:

— Братья, собрание возложило на Македонского опасное и славное поручение — пойти к Левскому. Итак, Македонский, ты должен выехать поездом в Гюргево завтра, самое позднее

послезавтра... Левский будет ждать в Русе до двадцать четвертого, так что остается только два дня. Теперь же выберем человека, который должен будет собрать хэшей. Предлагаю Хаджию.

— Согласны! — закричали все.

— Надо позаботиться и о деньгах на дорожные расходы для нашего посланца, — сказал учитель.

— Об этом не заботьтесь, — проговорил Македонский. — Я завтра же выужу сотню франков у какого-нибудь богача. Это уж мое дело...

Хэши стали расходиться, предварительно дав друг другу слово все держать в тайне от чорбаджий.

Прошел день, и Македонский, снабженный наставлениями и письмами, сел в поезд на браильском вокзале и уехал в Бухарест.

На дорожные расходы он употребил деньги, вырученные от продажи одежды Владикова.

Он не нашел нужным просить денег у других.

## X

Двадцатое февраля. Зима в том году задержалась, и морозы становились все более жестокими, так как вот уже две недели непрерывно дул северный ветер. Дунай замерз; толстый слой льда покрыл величественную реку словно стальной броней. Там, где раньше синели гордые волны, теперь простиралась белая долина, что с юга была окаймлена высоким берегом, над которым кричали галки, а на севере сливалась с бескрайней румынской равниной. Вместо пароходов и лодок, которые еще недавно бороздили тихие воды Дуная, сейчас по нему, как по мосту, в незапамятные времена созданному природой, тащились со скрипом повозки, черными точками двигались от берега к берегу путники, бесстрашно ступая по застывшей безжизненной груди реки. Но под ними, всего на глубине метра, мчались черные, шумные, сердитые струи, подобно тому как человек порой таит душевное смятение под маской напускного бесстрастия. Невдалеке, на турецком берегу, маячили деревянные домишки, издали похожие на могильные холмики, затерянные среди пустынных голых просторов, покрытых снежной пеленой. Но сейчас, ночью, в этих домишках весело светились огоньки, неодолимо маня к себе взгляд путника, что брел во тьме по румынскому берегу.

Этот путник был Македонский.

Он переоделся в крестьянское платье и теперь, в бараньей шапке и румынском кожухе, казался коренным деревенским жителем. Единственное, что отличало его от настоящего крестьянина, был револьвер, который опытная рука легко могла бы нащупать у него за спиной под кожухом.

Было часов девять или десять вечера. С равнины дул ледяной ветер. Македонский недвижно стоял на берегу, впившись глазами в красноватые огоньки дозоров. Можно было подумать, что это часовой, замерзший на своем посту.



Но вот неподвижная фигура шевельнулась в полутьме и двинулась к Дунаю. Путник спустился по чуть пологому берегу и ощупью ступил на выщербленный лед, опираясь на палку с острым наконечником. Необычайно страшной, таинственной и зловещей казалась эта черная тень, которая, словно призрак, двигалась среди ночи над оледеневшей пучиной.

Македонский шел напрямик, без дороги.

Он бесшумно ступал по толстой ледяной коре. Лишь палка его вонзалась в лед с глухим скрежещущим стуком. Дойдя почти до середины реки, Македонский повернулся спиной к холодному северо-восточному ветру и немного постоял, чтобы передохнуть, так как очень устал: пройденный путь, хоть и короткий, пролегал по неровному шероховатому льду. Шея и грудь путника, покрылись потом.

Ветер яростно дул, наполняя ночную тишину каким-то замогильным воем. Казалось, где-то отпевают мертвеца, покрытого белою плащаницей.

Отдохнув, Македонский не спеша пошел вперед ровными бодрими шагами.

И вдруг поперек его пути легла какая-то черная полоса. Полоса эта тянулась вдоль реки, и концов ее не было видно. То была трещина во льду, что-то вроде ручья шириной примерно в три шага. Очевидно, зимние холода еще не успели покрыть здесь реку ледяной корой. Македонский остановился как вкопанный, опешив перед этим неожиданным препятствием. Вода, черная и страшная, глухо шумела; впереди разверзлась грозная пропасть. Он бросил зоркий взгляд налево, потом направо; но, прочерчивая белизну снега, слегка запорошившего ледяную кору Дуная, черная полоса тянулась нескончаемо. Обойти ее было невозможно. Македонский несколько минут стоял, не зная, что делать. Ночной ветер обжигал ему лицо, но путник этого не чувствовал. Наконец он повернулся и решительными шагами тронулся в обратный путь. Должно быть, его осенила какая-то новая мысль. Он направился прямо к румынскому берегу, на котором виднелась какая-то дощатая хибарка. Вскоре Македонский поднялся на берег и подошел к ней. Бросив палку, он принялся с силой растирать себе руки, чтобы согреть их, потом потянулся к тесовой кровле, схватил одну доску, торчавшую из настила, рванул ее, расштал, приподнял. Послышался резкий пронзительный треск, и в этот миг дверь хибарки распахнулась.

На снег выскочил человек без шапки, растрепанный, в толстом румынском кожухе. Он грубо схватил Македонского за руку и заорал:

— Эй ты, бродяга, чего отдираешь доску?

Но Македонский, не слушая его, тянул к себе доску, которая отодралась, как только он ее рванул.

Незнакомец с силой толкнул Македонского.

— Разбойник!

Македонский, не выпуская из рук доски, бросил угрожающий

взгляд на румына и проговорил негромко:

— Убирайся!

— Брось доску! Кто ты такой?

— Убирайся! — повторил Македонский все так же тихо и сдернул доску с крыши.

Незнакомец схватил доску и яростно заорал:

— Не отдам тебе ее, разбойник!

— Ступай в хату, — выдохнул Македонский и ударил противника кулаком в грудь.

— Караул! Караул! — завопил румын, прижимая к себе доску.

В ночной тишине крик его, наверное, был слышен далеко. Македонский оглянулся кругом в замешательстве.

— Да я тебе заплачу, побратим, возьми два франка, — сказал он наконец, подавая румыну деньги.

— Караул! Разбойники! — не своим голосом орал упрямый румын, железными руками вырывая у Македонского доску-спасительницу.

Македонский почувствовал, что столкнулся с сильным противником, а значит, положение его может стать критическим. Без доски невозможно было перейти через полынью, а задержка на румынском берегу грозила опасностью попасть в руки властей. Какая-то ничтожная доска могла провалить все дело! Настало время действовать решительно. Македонский изо всей силы потянул к себе доску, в которую вцепился румын, натужился, крякнул, толкнул противника и, свалив его с ног, сам упал на него. Румын, возбужденный, упрямый, лежал на спине, изо всех сил прижимая к груди доску, и кричал срывающимся голосом. Тогда Македонский, доведенный до бешенства этим бессмысленным сопротивлением, вскочил, схватил доску за конец, наступил ногой на живот лежащего румына и, быстрым рывком выдернув доску из его рук, мгновенно поднял ее и со страшной силой обрушил на его голову.

Румын уже больше не пошевелился.

Быстро подняв палку, Македонский с доской под мышкой пошел к незамерзающей полынье; остановился перед нею, измерил ее взглядом, постучал палкой по льду, чтобы узнать, достаточно ли он прочен, и осторожно перекинул доску с одного края бездны на другой.

Этот импровизированный мост шириной в полторы пяди лишь самыми концами лежал на закраинах льда, едва перекрывая полынью. Стоило доске чуть покоситься, сдвинуться, и путник упал бы в воду.

Македонский уже много лет не осенял себя крестным знаменем, но сейчас, перед этой зияющей пропастью, он невольно поднял руку и перекрестился; и вот он ступил на страшный мост и благополучно перешел на другую сторону полыньи.

Так же поступили впоследствии, в 1876 году, Бенковский<sup>27</sup> с

---

<sup>27</sup> Бенковский — Георгий Бенковский (Гаврил Груев Хлытев) (1841/44—1876), выдающийся болгарский революционер, революционный демократ, организатор Апрельского восстания, отличался необыкновенно решительным и действенным характером. Был убит после разгрома восстания преследовавшими его турками.

Воловым<sup>28</sup>, когда близ Бекета поперек их пути по дунайскому льду протянулась полынья.

Приближаясь к турецкому берегу, Македонский ясно видел огни в оконцах караулок. Он шел прямо к той воображаемой линии, которая перерезала пополам расстояние между двумя дозорами. Ведь ему было известно, что там ливни вырыли овражек, и в этом овражке он собирался укрыться.

Необъяснимое чувство волновало сейчас Македонского. Он понимал, что чем раньше приблизится к желанному берегу, тем скорее столкнется с опасностями, трудностями и неожиданностями.

Понимал и, несмотря на это, спешил.

К счастью, с приближением полночи тьма сгущалась. Но глаза его, уже освоившиеся с темнотой, по-прежнему ясно различали все окружающее: впереди — караулки, неровные очертания берега, чернеющий овражек, а позади, вдалеке, Гюргево, тускло освещенное, казавшееся каким-то сказочным городом.

Наконец Македонский подошел к берегу, юркнул в овражек, остановился и прислушался. Все вокруг спало. Караулок уже не было видно. Справа и слева от него поднимались невысокие изрытые склоны овражка. Посмотришь на юг — там исчезает во тьме овражек; посмотришь на север — видишь какой-то хаос, неясный пепельно-серый, смутный, как сон.

Македонский сунул руку за спину, под кожух, и, вытащив свой револьвер, взял его в правую руку, а палку — в левую.

И вот он медленно, осторожно пошел вверх по овражку, который становился все более мелким, и вскоре голова его поднялась над краем склона.

Он сразу же заметил, что неподалеку, шагах в пятидесяти, шевелится что-то закутанное в черное, должно быть, человек. Всмотревшись повнимательней, Македонский разглядел, что это действительно человек и что он приближается. Ему показалось даже, что под мышкой у незнакомца что-то торчит — вероятно, ружье.

И он понял, что это дозорный на посту.

Быстро пригнувшись, Македонский прижался всем телом к склону овражка. Но палка его скользнула по глинистому обрыву, и комки посыпались с глухим шумом. Македонский насторожил уши. Сердце его бешено стучало.

— Кто там? — раздались слова, произнесенные по-турецки.

И стало слышно, как подходит кто-то, обутый в сапоги.

Македонский затаил дыхание. Он лег навзничь на темное дно овражка и, впившись глазами в край склона, нацелил туда револьвер.

Шаги все приближались. Македонский укрылся в канавке, вырытой дождевой водой и поросшей редкими кустами; во мраке ночи он сливался с их темной массой, а на дне овражка царила непроглядная тьма, в которой нельзя было ничего разобрать. Над ним

---

28 Волон — Панайот Волон (ок. 1850–1876), один из организаторов и героев Апрельского восстания.

висело пепельное, хмурое зимнее небо, грозное, безмолвное, страшное.

Не шевелясь, он прислушивался, держа револьвер наизготовке.

Но вот шаги совсем затихли. Должно быть, часовой вернулся на пост, убедившись, что шум был вызван какой-то незначительной причиной, а может быть, просто почудился ему.

Возможно, впрочем, что его внезапно обуял страх — ведь бывает и так.

Македонский еще долго лежал недвижно, напрягая слух, впиваясь глазами во тьму и едва дыша. Однако никаких шумов больше не было слышно. Он попытался пошевелить своими окоченевшими руками и ногами. И тут почувствовал, что спина у него, как лед, а ноги, как каменные.

— Эх, доконали меня... замерз! — прошептал он и, опираясь на обе руки, медленно приподнялся, сел, потом осторожно выпрямился и высунул голову над краем изрытого склона.

Вокруг все было пусто и мертво.

Он ползком вскарабкался на другой склон овражка, ступил на ровное место и быстро перемахнул через холмик.

Пробежав несколько минут, он очутился в ложбине, какие часто встречаются на неровных берегах Дуная. Остановившись там, чтобы немного отдохнуть, он почувствовал, что ноги у него согрелись, и стал осматриваться, чтобы сообразить, в какую сторону идти. Потом пошел дальше. Вскоре он поднялся на пригорок и увидел, что далеко на западе светятся какие-то тусклые огни — там спал город Русе.

Однако Македонский пошел на юго-запад, так, чтобы сделать крюк и, приближаясь к городу, избежать дозоров.

Последние огни тускнели и гасли в Русе, когда Македонский подошел к нему со стороны станции. Перед ним тянулась белесая лента шоссе, ведущего в город.

Теперь наступил самый опасный момент. К дому бабушки Тонки можно было подойти с трех сторон, но ночной патруль, вероятно, еще обходил улицы, и надо было опасаться встречи с ним. Македонский немного подумал и резко свернул в сторону Дуная, а потом, пригнувшись, быстро и бесшумно пошел к реке. Он напоминал волка, который ночью рыщет по окраинам города. И вот впереди показался Дунай, весь белый, слегка запорошенный снегом. Путник спустился с невысокого обрыва и, крадучись, стал пробираться по берегу вдоль кромки льда.

Немного погодя он ступил на едва заметную тропинку, круто поднимавшуюся на высокий берег в том месте, где на нем теснились бедняцкие домишки Гердапа. Какая-то собака заметила сверху поднимающегося человека и залаяла, а на ее лай отозвались все псы в соседних дворах. Наконец Македонский поднялся на берег и вошел во двор, который не был огражден забором со стороны, обращенной к Дунаю, — здесь только стояла широкая дощатая лавка. Македонский мгновенно пересек двор и осторожно постучал в дверь.

В доме слышались чьи-то шаги.  
— Кто там? — спросил женский голос.  
— Твой сын, — ответил Македонский и, приложив губы к замочной скважине, добавил: — Македонский.  
Дверь скрипнула, из-за нее показалась бабушка Тонка.  
— Дьякон<sup>29</sup> здесь? — спросил Македонский.  
Но бабушка Тонка вместо ответа спросила в свою очередь:  
— Откуда идешь?  
— Из Браилы.  
— Он тебя ждет, — сказала старуха и пошла впереди него.  
Чиркнула спичка, и пламя свечи осветило комнату; Македонского приятно обдало теплым воздухом.  
В комнате никого не было.  
Старуха вышла, но спустя минуту вернулась.  
— Иди за мной, сынок, — он внизу, — сказала она и снова вышла с лампой в руке, а Македонский последовал за нею.  
В коридоре они подошли к люку, устроенному в полу; когда он был закрыт, нельзя было догадаться, что здесь вход в подполье, так как крышка люка казалась наглухо забитой гвоздями; на самом же деле гвозди эти были обрезаны, и от них остались только шляпки, а чтобы крышка не сдвигалась с места, когда на нее наступали, она была прикреплена искусно замаскированными винтами.  
Македонский, следуя за старухой, спустился по узкой подземной лесенке. И вот внизу открылась дверь, и они вошли в довольно просторную комнату, заботливо убранную домоткаными ковриками и освещенную.  
За столом, заваленным книгами, бумагами, газетами, красным сургучом и разными письменными принадлежностями, сидел, накинув на плечи кожух, Левский и писал.  
Эта подземная комната служила и канцелярией и рабочим кабинетом всем апостолам и агентам, тайно ночевавшим в доме бабушки Тонки.  
Македонский сел на покрытую красным ковриком лавку.  
— Тебя никто не заметил? — Вот были первые слова Левского.  
— Никто.  
— Ну?  
Македонский сунул руку за пазуху и передал Левскому письмо.  
Апостол подвинул к себе свечу и стал внимательно читать его.  
А в это время наверху гостеприимная бабушка Тонка сняла с полки покрытое крышкой блюдо, раздула огонь и принялась разогревать угощение, приготовленное для посланца браильских хэшей.

## XI

---

29 Дьякон — прозвище Василя Левского, в молодости недолго бывшего дьяконом.

Единственная фотографическая карточка Васи́ла Левского, сохранившаяся до наших дней, к несчастью, не дает ни малейшего представления о том, какой сильной волей, каким характером был одарен этот человек. Искусство оказалось бессильным запечатлеть его выразительное лицо, озаренное величием той идеи, которая его вдохновляла и воспламеняла.

Левский был человек среднего роста, тонкий и стройный; глаза у него были серые, почти синие, усы рыжеватые, волосы русые, лицо белое, овальное, с печатью непрестанных дум и бессонных ночей, но оживлявшееся постоянной неподдельной веселостью. Странное дело! Этот юноша, который проповедовал крамольные идеи свободы, борьбы, готовности умереть за них; который подвергал себя опасности; этот сын ночи, пленник одиночества, переживший всевозможные злоключения, имел веселый нрав! Как и воевода Тотю, он был великим мастером петь песни, и голос его не раз звучал в буковых лесах на Стара-планине<sup>30</sup>. Приезжая в Бухарест, он вместе со сведениями об организации революционных комитетов привозил в подарок Каравелову<sup>31</sup> разузоренные, изогнутые трубочки работы балканских турок. Быть может, эта жизнерадостность была необходима для того, чтобы поддерживать в нем бодрость духа во время всегдашней его борьбы с апатией и подозрительностью, свойственными поработленным.

Но если было нужно, он преобразался. Веселость покидала его лицо, взгляд становился серьезным, голос звучал как у человека, который требует, который приказывает; речь его, простая и безыскусственная, волновала, смущала, убеждала. Где бы он ни проходил (а он ходил всюду), возникали новые стремления, вопросы, чаяния. Известность его быстро возросла, проникла в хижины, взбудоражила города, просочилась в горы. Слово его будило людей, имя его пробуждало народ. Однажды ночью он выступил в Пазарджике<sup>32</sup>, и в результате были собраны по подписке добровольные пожертвования на сумму в миллион грошей! Левский нередко был груб, он никому не льстил, ибо проповедовал не какое-

---

30 В одном из своих писем Ботев так пишет о Левском, вместе с которым как-то раз нашел убежище на ветряной мельнице вблизи Бухареста: «Приятель мой Левский — необыкновенный человек. Он одинаково весел, в каком бы мы ни были положении — в самом критическом или самом благоприятном. Холод такой, что трещат и камень и дерево, а Левский поет и веселится. Он поет вечером, пока мы не ляжем спать; поет и утром, как только мы откроем глаза. Как бы ты ни отчаивался, он тебя развеселит и заставит забыть обо всех муках и страданиях. Приятно жить вместе с подобными людьми!» (Прим. автора)

31 Каравелов — Любен Стойчев Каравелов (1834–1879), одна из крупнейших идеологов и руководителей болгарского национально-освободительного движения, последователь идей русских революционных демократов, талантливый писатель и публицист, основоположник критического реализма в болгарской художественной литературе. В 1870–1874 гг. возглавлял Болгарский Центральный революционный комитет. Под влиянием временных неудач — казни В. Левского, провала части местных революционных комитетов в Болгарии — вышел из состава БРЦК и перешел на просветительские позиции.

32 Пазарджик — город в Южной Болгарии, лежащий на пути из Софии в Пловдив.

либо учение, но выполнение гражданского долга. Ему не хватало знаний, но этот недостаток искупался его передовыми убеждениями. Однажды его огорчили темнота и суеверие каких-то крестьян, и он сказал им гневно:

— Вы только тогда станете людьми, когда будете есть мясо по средам и пятницам.

Как-то раз жители деревень в окрестностях Софии, где он лихорадочно организовывал революционные комитеты, задали ему такой вопрос:

— Бай Васил! Когда Болгария получит свободу, кого мы поставим царем?

— Если мы сражаемся с турками только ради того, чтобы иметь царя, то мы дураки. У нас и теперь есть султан. Не правитель нам нужен, — нужны свобода и равенство людей, — хмуро ответил Левский.

— А ты тогда кем будешь служить?.. Ведь ты имеешь право на самую главную должность.

— Никакой мне не надо. Я уйду к другим поработенным народам и там буду делать то, что теперь делаю здесь.

И он говорил искренно.

Дьякон не знал страха и не отступал перед явным риском для жизни. Несколько лет он ежечасно подвергался опасности, и опасность стала как бы его родной стихией, в которой он чувствовал себя превосходно и черпал новую уверенность в себе, подобно какому-нибудь военачальнику, который привык слышать бессильный свист пуль, проносящихся мимо его ушей.

В Сопоте, в комнате одного учителя, состоялось тайное собрание местного революционного комитета. И вдруг в комнату вошел незванный гость, разоблаченный провокатор на службе у турецких властей. Он сел. Все молчали, но гость не уходил. Тут Левский вскипел, поднялся и дал затрещину наглецу, крикнув:

— Убирайся вон! Подлец!

— Как? По какому праву ты меня ударил? — спросил этот господин в замешательстве.

— Вон! Иди, выдавай нас туркам. Я — Левский.

Все собравшиеся содрогнулись от ужаса.

— Не бойтесь! — спокойно проговорил Левский, когда незванный гость удалился. — Я уверен, что этот мерзавец не посмеет нам повредить.

И Левский продолжал свою речь.

Действительно, никто не пришел и не потревожил собравшихся.

Все жители Сопота помнят, с какой невероятной дерзостью вел себя Левский и на какой риск он шел. Однажды пальто его попало в руки полиции, и в нем нашли несколько революционных прокламаций, сургучные печати, поддельные паспорта, яд и бумажник Левского. Власти без устали искали беглеца, вооруженные жандармы рыскали по улицам. А Левский, переодетый крестьянином, завязав себе лисьей

шкуркой левый глаз и с простодушным видом глядя на все происходящее, можно сказать, под носом у полиции, спрашивал прохожих: «А где тут лекарь живет?»

В Левском соединялись энтузиазм Каблешкова<sup>33</sup>, твердость Бенковского и сила Караджи. Но он обладал и другими качествами, которых не хватало тем троем: он был одарен непобедимой выдержкой и упорством. Те трое пронеслись, как метеоры, по нашему темному небу — сверкнули, взбудоражили людские души и погасли. Можно сказать, что эти люди явились лишь для того, чтобы оставить истории свои три великих имени и потом уйти. Деятельность Левского была более длительной и плодотворной. Своенравная судьба захотела, чтобы простой писарь на службе у турок, какой-то полуграмотный дьячонок, показал миру, какие дела может совершить человек, вдохновленный великой идеей, и сколь велика идея, которая создала для нас этот титанический образ. Ведь что бы ни говорили некоторые скептики, в Левском воплотилась сила, возникшая из вековых страданий, из океанов унижения. Семь лет бродил Левский по Болгарии, посещал сотни городов и селений, создавал там революционные комитеты, учил и ободрял народ, устрашал богачей, переспоривал ученых, сердил турок, всегда последовательный до конца, настойчивый до безумства. Власти уставали охотиться за ним, а он не уставал воздвигать преграды на их пути; он преодолевал препятствия, убеждал неверящих, распялял сонных. Бессильным он оказался только перед изменой: некий священник, поп Крыстю из Ловеча, коварно предал его. Попав в руки тиранов, Левский, раненный двумя пулями, по слухам, принял яд, чтобы не нарушить своей клятвы; но яд не подействовал, и тогда Левский в Софийской тюрьме попытался разбить себе голову об стену, однако голова его оказалась более твердой, чем камень, и его повесили полумертвого.

Таков был человек, которого называли Дьяконом, Василом Левским, Апостолом, которого судьба поставила во главе целой когорты борцов за свободу — проповедников и мучеников, чтобы расшевелить массы, чтобы подготовить события, чтобы построить будущее!..

Маленький Гус, который не стал гигантом лишь потому, что не было простора, где бы он мог развернуться, Левский в Иудее был бы распят, в средние века сожжен живым; но он жил в девятнадцатом веке — и был повешен... Три орудия пытки, три символа: распятие, Торквемадов костер, виселица — три казни, придуманные в веках, чтобы карать и бесчестных и бессмертных...

## XII

— Хаджия, за твое здоровье!

---

<sup>33</sup> Каблешков — Тодор Лулчев Каблешков (1851–1876), болгарский революционер, один из организаторов и вождей Апрельского восстания.



— Пей, Асланов!  
— За твоё здоровье, желаю удачи!  
— Ура, домнуре Гика! Пополней наливай чарки, чтоб у тебя псы голову отъели!..  
— Ура! За наши успехи! Будем здоровы! — закричали ещё несколько человек и, громко чокнувшись, осушили чарки, потом со стуком поставили их на стол.  
Хэши вытирали себе усы,  
— А где Каранов? Где Бебровский? Хаджия, ты разве их не позвал?  
— Бебровский пошел свести счета с Никулеску... придет сегодня вечером. Разве я мог забыть про этого балканского медведя?.. Каранов тоже придет; он пошел за своим братом, и они явятся вместе, а то брат сказал ему, что если его не возьмут, он подожжет лавку... вот юнак!  
— А Гунчо?  
— Ха, этот продал свое оружие, олух...  
— Но я вчера видел, как он купил себе славный винчестер... Придет и он, — сказал кто-то третий.  
— А Попик? — спросил четвертый.  
— Попик отправился за Кирчо, Мырковым и Койновым. Койнов, бедняга, болен, очень кашляет, но тоже хочет прийти.  
— Когда речь идет о святом деле, тут не до болезни, — заметил кто-то.  
— Ничто не может помешать болгарскому герою умереть за родину, — глубокомысленно проговорил другой, вспомнив тираду из какой-то драмы Войникова.  
— Кто теперь отвиливает, тот подлец.  
— Будем здоровы, братья! Да здравствуют ветераны! — крикнул хэш, одетый в румынскую солдатскую куртку со споротыми погонами. — Да здравствует народ... а тиранам смерть!.. Гика, налей-ка еще, и Добре тоже, и Петре...  
— Ура!  
— Чтоб они лопнули, агаряне!  
— А вы знаете? — крикнул Димитро. — Мравка опять попал на голубятню.  
— Восемь раз его сажали в тюрьму за эту зиму, — подхватил Асланов, — и все по пустякам, Встретит он, например, какого-нибудь еврея и давай таскать его за пейсы. Еврей раскричится, подоспеет полиция и... пожалуйста в Курте де Курник<sup>34</sup>. Или стянет Мравка пару яблок в лавчонке и наутек. Поймают его — он не противится, не отпирается, и опять — пожалуйста к комиссару в лапы... Это он нарочно проделывает, когда есть нечего. В тюрьме кормят неплохо.  
В это время Хаджия вполголоса говорил с двумя хэшами о Македонском, который все еще не вернулся.  
— Ну, это полбеда, а вот если схватят Дьякона... Что тогда? —

---

34 Ироническое название тюрьмы у румын. (Прим. автора)

продолжал Хаджия озабоченным тоном.

— Тогда и наш план и чета — все на ветер, — сказал Добре встревоженно.

— Тс... — зашипел Асланов и мигнул Добре. — Корчмарь услышит. Добре отрицательно покачал головой.

— Этот торгаш не понимает по-болгарски.

— Но тайну надо хранить.

— Болтать про нее нельзя.

— Храни тайну, осел! — заорал какой-то полупьяный хэш, который все время сидел, прислонившись головой к стене, и смотрел куда-то вверх.

— А Иван Славков знает об этом? — спросил Асланов, повернувшись к Хаджии.

— Я его не нашел... но он наверняка узнал.

— Эта полоумная коза не придет; готов биться об заклад на свои царвули.

— Ну нет, он придет!

— Нет!

— Придет!

— А если не придет, я ему выдеру бороду, хоть он и мажет ее венской помадой; за одну лишь помаду платит франк в цирюльне.

— Говорят, будто он, ловкач этакий, обручился с Мариолицей! Каков гусь!.. Лакомый кусочек — так бы ее и съел! Гика, дай немножко закуски да налей еще; только настоящего, одобежского, без воды! Не жульничай.

Собутыльники опять чокнулись и выпили.

— Давайте выйдем на улицу, проветримся немножко! — крикнул Хаджия. Все встали.

— Но в чарки уже налито. Как... неужели не выпьете? Не обижайте меня, а не то выплесну вино вам на головы, — пригрозил хэш, угощавший вином товарищей, и протянул вперед левую руку, чтобы загородить выход.

— Как ты смел преградить царский путь? — заревел вдруг какой-то великан, входя в корчму и грубо отталкивая руку хэша.

— Бебровский! Добро пожаловать!

Несколько человек бросились к нему и расцеловали его в толстые губы.

— Добро пожаловать, братец! Домнуде Гика, еще чарку, чтоб тебя дьявол унес!

— Ну, давайте все еще по одной! Марков, расплачивайся.

Хэши шумно высыпали из корчмы и зашагали по длинной улице. Надвигался вечер, и становилось холодно. По площади с грохотом мчались фаэтоны, развозя пассажиров с последнего поезда. Под действием вина домнуде Гики хэши весело тараторили и громко здоровались со всеми встречными знакомыми. Как только вся компания свернула на узкую улочку, навстречу ей попался Попик, который шел с тремя товарищами — оборванными хэшами.

— Попик! Попик! — закричали несколько человек.

Попик, остановившись, ничего не ответил, только приложил палец к губам в знак того, что просит не замечать его, потом вместе со своими спутниками пошел дальше вслед за каким-то турком в длинном суконном кафтане.

### ХШ

У Владикова шло шумное собрание. Все головы были разгорячены вином Гики, и беседы велись оживленные. Естественно, что разговоры вертелись вокруг того нового дела, которое сейчас собрало вместе этих людей, скитавшихся по разным местам. Брычков восхищался ими. Он почувствовал, что еще больше полюбил Болгарию, которая рождает такие отважные сердца. Владиков тревожился за Македонского.

Вдруг из передней донесся громкий топот.

Дверь с шумом распахнулась, и в комнату как ураган ворвался Македонский. С усов его свисали ледяные сосульки.

Все вскочили и бросились к нему здороваться и пожимать ему руки. В ответ Македонский одних хватал за руку, других обнимал, а с Владиковым, Брычковым и великаном Бебровским расцеловался.

— Здравствуйте, юнаки!

— Ну, как? Все ли удалось сделать? — быстро спрашивали хэши.

— Все вышло, как мы хотели; только я чуть не утонул в Дунае. Большой вам привет от Апостола. Дела идут хорошо. Ну-ка, подвиньтесь, мне надо согреться. Эх, вот пришлось хлебнуть дунайского холода — в жизни так не мерз; если бы фунта три этого мороза да бросить в пекло, он бы и пекло остудил. Бебровский, скрути мне, ради бога, сигарку, а ты, Владиков, принимай вот это письмо от Левского.

И Македонский протянул руки к печке, в которой пылал огонь.

— Расскажи нам, как ты туда ходил и что делал!

Македонский не стал ждать новых просьб. Он гордо подкрутил свои обледеневшие усы, подмигнул нескольким товарищам и принялся подробно рассказывать о своих приключениях, которые называл «мытарствами». Особое удивление он возбудил у всех, рассказывая о том, как спасся от смерти, когда возвращался в Румынию по дунайскому льду: тут ему снова преградила путь полынья, а так как за спиной у него свистели пули дозорных, он разбежался и перескочил через эту полынья, но чуть не шлепнулся в воду.

Владиков все это время читал письмо, но вот лицо его осветилось радостью.

— Ребята! — сказал он, поднимая глаза, — готовьтесь!

— Скажи, скажи, что пишет Левский! — раздались жадные голоса.

Кто-то негромко постучал в дверь.

— Держу пари, что это Попик стучит — до чего деликатный, мерзавец, — сказал с улыбкой Хаджия.

Но вошел полицейский комиссар с двумя жандармами. Все опешили.

— Что вам угодно? — взволнованно спросил Владиков и пошел навстречу комиссару.

— Кто здесь господин Брычков? — спросил комиссар, и его испытующий взгляд обежал всех присутствующих.

— Что вам угодно? — повторил Владиков.

— Кто тут Брычков?

— Это я, — ответил Брычков и побледнел.

Комиссар подошел к нему.

— Именем закона предлагаю вам следовать за мной, — и, обернувшись к Владикову, добавил: — Сегодня вечером в городском саду обобрали и чуть не задушили одного турка. Подозрение пало на господина Брычкова. Он гулял по саду как раз в это время.

Владиков посмотрел на Брычкова в замешательстве.

— Да, я сегодня вечером действительно гулял в саду, но я не имею никакого отношения ко всему этому.

— Это мы выясним, — сказал комиссар, понимавший по-болгарски, — ну, вставайте!

Брычков встал.

Владиков вспыхнул, и губы его задрожали. Он встряхнул волосами, подошел к представителю власти и заявил:

— Я не позволю никого уводить из моего дома ночью.

Комиссар бросил на него удивленный, недоумевающий взгляд.

— Если не ошибаюсь, сударь, вы преподаете в здешнем болгарском училище?

— Да.

— Так позвольте мне верить, что вы знаете законы нашей страны. И вам известно, на каком основании я так поступаю...

— Я знаю и законы и основания, но еще лучше знаю, что вы глубоко ошибаетесь. Брычков не тот человек, которого вы ищете.

— Клянусь честью, что Брычков на такие дела не способен, — сказал Македонский, бросая холодный взгляд на Брычкова.

Однако комиссар вежливо возразил:

— Я обязан отвести его куда следует. А там пусть начальство разбирается.

— Но я не могу допустить, чтобы мой гость провел эту ночь под замком.

Македонский вскочил, стал перед комиссаром и крикнул:

— Да, и я не позволю! Что за безобразие...

Пример Македонского оказался заразительным. Поднялся негодующий гомон. Несколько человек повскакало с мест, готовясь оказать сопротивление.

Лицо у комиссара сделалось серьезным, и он властным тоном приказал жандармам:

— Взять этого господина!

— Нет, нет, не допустим! — раздались голоса.

— Он болгарин.

— Он не виновен.

Ожесточение нарастало. У некоторых хэшей были револьверы, да и в головах у них не совсем прояснилось. Еще немного — и началась бы свалка со всеми ее неприятными последствиями.

— Перестаньте, я пойду! — сказал Брычков решительным тоном.

— Я возьму Брычкова на поруки до завтра, — проговорил Владиков и, махнув рукой, попросил хэшей угомониться.

— Это вы можете сделать, но лишь испросив разрешения у моего начальника.

— Хорошо, я пойду с вами.

Владиков оделся, надел шапку и рукавицы и вместе с комиссаром и Брычковым вышел, не сказав больше ни слова товарищам.

Спустя час он вернулся вместе с Брычковым.

— Все разъяснилось, — сказал он, — хорошо, что я пошел. Турок сам признал, что не видел Брычкова среди тех, кто его грабил. Это, оказывается, тот самый, что приехал из Мачина, турецкий шпион. Комиссар просил извинения у Брычкова.

Владиков сел на стул, дочитал письмо и сказал:

— Юнаки, пятнадцатого марта мы тронемся в Бухарест. А пока все должны оставаться здесь и готовиться по мере сил. Вы прочли письмо Дьякона?

— Хаджия читал его вслух.

— А где же Попик? — спросил кто-то.

Владиков встал.

— Собрание кончено. Ребята, в среду опять соберемся у меня.

— Хорошо.

— Но если снова какой-нибудь полицейский придет мешать нам, мы ему зададим жару, клянусь виселицами Митхада-паши.

— Ну уж нет, никто больше не придет.

— Пусть только посмеют!

— Прощайте!

— Спокойной ночи!

Все стали расходиться.

Прежде чем выйти со двора училища, Македонский направился в угол, где были сложены колотые дрова, взял под мышки десяток поленьев и направился вместе с Хаджией прямо домой, шепча на ходу:

— Это народные дрова, а мы с тобой служим народу.

Тьма была непроглядная. Улицы совсем опустели, дул сильный ветер. Хэши, торопясь поскорей дойти до своей лачужки, шли молча. В одном месте полицейский, стоявший на посту, остановил Македонского и спросил, что тот несет под мышками.

— То, что всего нужнее в такую ночь, братец мой, — ответил Македонский по-румынски, потом выругал полицейского по-болгарски.

Когда они пришли домой, Хаджия чиркнул спичкой и стал искать

свечу. В комнате тоже стоял мороз. Жерло печи зияло, безмолвное и холодное. Македонский бросил дрова на пол.

— погоди, вот набыю пасть этому чудищу, что осклабилось на нас, словно бес, услышишь, как оно заревет, — сказал Македонский, потом со свечой в руке сунул голову в печь и стал разгребать золу, но вдруг отпрянул назад, ошарашенный, побледневший...

— Хаджия, у чудища в пасти змея! Видал ты когда такое?

— Как?

— В печке змея, свернулась кольцом в золе.

— Враг, черт и бес! — воскликнул Хаджия. — Змея? В такой мороз? Да она издохла, наверное.

— И правда, не шевелится; значит, окоченела, как мои ноги на Дунае... погоди, я ее вытащу! — И. он зацепил змею длинными щипцами.

— Эге! Тяжелая, словно свинца наелась... Ой! Да это не змея... Это что-то из зеленого сафьяна. Постой!

— Осторожней, — вырвалось у Хаджии, и он тоже сел на корточки и заглянул в печь.

Македонский уже не просто сжимал, а тянул что-то к себе щипцами. Наконец змееподобный предмет был вытасчен на самый край топки, откуда он тяжело упал на пол с металлическим звоном.

— Ох, да это пояс, а в нем деньги! — крикнул Македонский.

— Полный! — заорал Хаджия. Тут оба вцепились в пояс, но Македонский победил, и добыча осталась в его руках. Хаджия весь дрожал, а Македонский пыхтел и невольно старался держать пояс подальше от алчных взглядов товарища. И вдруг конец пояса развязался и оттуда посыпались блестящие золотые наполеоны. Хаджия кинулся к ним, как безумный.

— Стой! — прикрикнул на него Македонский, сжимая железными пальцами его шею. — Сколько бы ни было — разделим пополам.

— Да, поделим, поделим, — задыхаясь, бормотал Хаджия.

Из пояса вытрясли все монеты. На полу сверкала кучка золотых. Хэши оторопело переглянулись.

— Кто же это сыграл с нами такую шутку? — крикнул Македонский.

— Почему знать... может, нечистая сила.

— А почему она не подарила нам этот пояс вовремя, а дала его теперь, в конце зимы? Но все равно, и за то спасибо, — сказал Македонский и принялся считать золотые.

— Э-ге-ге! — вскричал вдруг Хаджия и ударил себя по лбу. — Какой же я дурак! Да это Попик сунул туда деньги. Вот прохвост! От нас скрыть захотел. Это он ограбил турка сегодня, понимаешь? А вот и сатира его валяется...

— Ну что ты? Неужели этот болван способен на такое дело? — с завистью проговорил Македонский. — Всего сто четыре наполеона. Бери свою кучку, а я суну эти кружочки за пазуху, чтобы их мышки не съели.

И они набили себе карманы весело звенящим золотом.

— Ох, я весь вспотел, разогрелся; правду говорят, что золото греет, — сказал Македонский. — Ну как, неужели мы тут и останемся ночевать, как скотина какая-нибудь?

— В отель «Петербург»! — закричал Хаджия.

— Да ну тебя с твоим «Петербургом»! Больно уж далеко!.. Впрочем, ладно, пускай «Петербург». Был бы у нас фаэтон — неплохо бы...

Хэши встали и пошли к выходу. Македонский бросил презрительный взгляд на убогую комнатушку и сказал:

— Дрова пусть достанутся Попику, когда он явится. А я-то целый час их тащил, принес ему готовенькими. Пускай знает, как старается для него его друг Македонский.

#### XIV

В июне 1876 года, накануне войны между Сербией и Турцией<sup>35</sup>, в Бухаресте, в кофейне Лабеса, за столиком, на котором лежали западноевропейские газеты, сидели и беседовали несколько человек болгар. За соседними столиками расположились румыны, евреи, французы, немцы и другие иностранцы; одни разговаривали о политике, другие, поставив перед собой кружки с пивом, читали газеты.

Все общество было заинтересовано последними тревожными известиями о неминуемой войне между вассалом и сувереном.

Прислушавшись к разговорам, которые здесь велись, можно было сразу понять, что иностранцы сочувствуют туркам. Все они ждали часа, когда маленькая Сербия будет разгромлена громадными военными силами, которые Абдул-Керим-паша<sup>36</sup> уже сосредотачивал на сербской границе, и все радовались. То и дело раздавались восклицания и оскорбительные выражения по адресу сербов и славян вообще.

Лишь маленькая компания болгар чувствовала и думала по-другому.

— Только что стало известно, что Сербия мобилизовала девяносто три тысячи человек; если это правда, армия у них немалая, — говорил толстый, приземистый, смуглый болгарин с черной бородкой, полнота которого в сочетании с элегантным костюмом и цилиндром ясно свидетельствовала о том, что этот политикан — богатый человек.

Он очень напоминал бухарестцев, описанных Каравеловым.

---

35 ...накануне войны между Сербией и Турцией. — Сербско-турецкая война, в которой участвовали в рядах сербский войск русские и болгарские добровольцы; началась 18 июня 1876 г. Развивалась неблагоприятно для Сербии. Посла ультиматума России Турции военные действия были прекращены 20 октября 1876 г.

36 Абдул-Керим-паша — главнокомандующий турецкими войсками во время сербско-турецкой войны 1876 г. и в начале русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

— Да еще такой генерал, как Черняев<sup>37</sup>, — добавил глубокомысленно молодой человек со шрамом на щеке и с тупым взглядом, одетый тоже изящно.

— Агентство Гавас сообщает, что Россия мобилизует свои войска в Бессарабии, а русские добровольцы мощным потоком хлынули сюда. Россия ни в коем случае не покинет Сербию на произвол судьбы, — заключил третий собеседник, молодой человек лет тридцати с худощавым, печальным и приятным лицом.

— А куда подевались наши бродяги? Интересно было бы увидеть их в деле теперь... Посмотрим, как выразятся их патриотические чувства... Всю зиму только и делали, что оглушали нас своей болтовней! — проговорил кислым тоном первый собеседник и громко закашлялся.

Молодой человек со шрамом на щеке и с тупым взглядом три раза кивнул утвердительно.

— И я вчера говорил то же самое хозяину, господин Гробов. Все они попрячутся кто куда, а ведь Сербия, надо сказать, больше всего надеется на болгар.

— Ну к чему привело это их восстание? — продолжал господин Гробов. — Ни к чему! Только и вышло, что зря вырезано сто тысяч ни в чем не повинных болгар... Восстание! Дурацкая затея! А советовались они с кем-нибудь, когда затевали восстание?

И господин Гробов нахмурился.

— Представьте себе, — подхватил молодой человек со шрамом на щеке и с тупым взглядом. — Вчера, нет, третьего дня, является некто Македонский, сущий бродяга, в нашу контору... Я его спрашиваю: «Что тебе здесь надо?» А он мне: «Прошу помощи для нескольких бедных хэшей, которые отправляются добровольцами в Сербию...» Ха-ха-ха! Слышите? Какой-то Македонский просит помочь бедным добровольцам!.. Эти люди нагло врут без всякого стыда! Мерзавцы!

— Проходимец! Вы должны были выгнать его немедленно, — презрительно процедил Гробов и плюнул.

— А ему что? Проходимцы ведь ничего не стыдятся.

— Неужели вы дали ему денег, чтобы он пошел в корчму и напился как скотина?

Молодой человек со шрамом на щеке и с тупым взглядом иронически усмехнулся и многозначительно склонил голову налево с таким видом, словно хотел сказать: «Удивляюсь тебе: неужели ты думаешь, что я так наивен?»

— А по-моему, к нему отнеслись нехорошо. Ты его очень плохо отрекомендовал. Хозяин был чем-то рассержен и ругал его на чем свет стоит... А мне, знаешь ли, стало жаль этого несчастного, когда он от нас уходил, — проговорил молодой человек с печальным и приятным лицом; он служил в той же конторе, что и первый.

— Такие негодяи не заслуживают жалости, — сказал молодой

---

<sup>37</sup> Черняев (1828–1898) — русский генерал, по предложению сербского правительства взял на себя командование сербскими войсками в войне с Турцией.



господин со шрамом, — он способен убить человека среди бела дня прямо на улице... Шайка разбойников... По их милости стыдно бывает признаться, что сам ты болгарин.

Четвертый болгарин, все это время молча читавший газету «Норд», быстро положил ее на столик, внезапно побледнел, и, бросив суровый взгляд на того, кто произнес последние слова, сказал с дрожью в голосе:

— Не хулите столь бессердечно, сударь, эти несчастные, жертвы! Вспомните, что Македонский сражался в Болгарии...

Молодой человек со шрамом на щеке и с тупым взглядом удивленно взглянул на собеседника, который позволил себе противоречить ему в вопросе совершенно бесспорном, и спросил:

— Прошу вас, господин Говедаров, скажите, что он собственно сделал, когда сражался в Болгарии?

— Во всяком случае, он сделал больше, чем вы и я, — ведь мы-то с вами спокойно сидим в Бухаресте и, чтобы убить время, подло клеветаем на этих патриотов-мучеников.

Бледное лицо Говедарова вспыхнуло. Он был членом революционного комитета в Бухаресте.

— А не тот ли это, что стоит вон там, — высокий, в мадьярской шапке? — быстро спросил господин Гробов и показал рукой на дальний конец кофейни, где какой-то человек, размахивая руками, говорил, обращаясь к четверем другим.

— Именно! Он и есть Македонский! — воскликнул господин со шрамом на щеке.

— С ним еще несколько человек оборванцев, бродяг, — пробормотал Гробов, надевая монокль, — даже в эту кофейню затесались.

— Вы знаете, кто они такие? Когда узнаете, восторженное отношение господина Говедарова к «патриотам-мученикам» поостынет.

— А сам ты знаешь их? — спросил Гробов.

— Мне о них рассказывали на днях. Вот этих троих неделю тому назад выпустили из коптильни (так в Румынии образно называют тюрьму), где они просидели три года.

Все четверо собеседников с любопытством воззрились на компанию, о которой шла речь.

— А за что их арестовали? Опять какой-нибудь грабеж, вероятно...

Господин со шрамом на щеке и с тупым взглядом просиял от удовольствия, небрежно усмехнулся и, вызывающе посмотрев на Говедарова, начал:

— Я вам расскажу, — это целый роман. Надо бы сюда приехать Евгению Сю, — он бы здесь нашел для себя тему. Три года назад эти «патриоты-мученики» ночью проникли в контору Петреску в Браиле, взломали какими-то инструментами кассу и похитили около двух тысяч наполеонов звонкой монетой и бумажными деньгами!

— Так, так, об этой краже мы слышали, — перебил его Гробов. —

Значит, это и есть те господа, которых тогда поймала полиция?

— Они самые... А теперь поглядите на них! Делают вид, что «мы лука не ели, луком не пахнем» — честные люди...

И господин со шрамом на щеке громко расхохотался.

— А я полагаю, что надо скорее жалеть этих пропащих людей, чем смеяться над их несчастьем... Три года в тюрьме!.. Страшно подумать... Эти люди заслуживают сострадания... Они искупили свой грех... — сказал печальный молодой человек с приятным лицом.

Говедаров молчал.

Господин со шрамом на щеке, с торжеством заметив явное смущение Говедарова, бросил на него нахальный взгляд и снова начал:

— А вы знаете, как эти почтенные господа объяснили на суде, что именно побудило их совершить ограбление?

— Как?

— Дам золотой, если догадаешься! Вы как думаете, господин Говедаров?

И молодой человек со шрамом нагло рассмеялся в лицо Говедарову.

— Представьте себе: они заявили, что пошли на грабёж с целью послужить народу! Ха-ха-ха!

— Опять — «послужить народу!» — заорал во все горло Гробов. — Теперь у нас все разбойники — народолюбцы. Приходят и раздевают тебя догола во имя народа! В нынешние времена все благородные слова исходят из уст всяких негодяев... В прошлом году у меня пропал новый цилиндр в саду Ставри, так, может, это они его стащили, а потом пропили в корчме во славу народа?.. А я себе голову застудил, пока искал его!

Господин Говедаров сидел, задумавшись; сейчас он невольно улыбнулся и посмотрел на блестящую, без единого волоса плешь на круглой голове Гробова.

Господин Гробов заметил усмешку Говедарова и рассердился.

— Что, господин Говедаров, вы смеетесь, да? Неужели это смешно? А что скажете вы о «патриотах-мучениках», которые взламывают двери и пробивают железные кассы?

— Скажу, что у нас, болгар, нет сердца! Великодушие — качество, чуждое нам, господин Гробов.

Господин со шрамом на щеке и с тупым взглядом принял еще более наглый вид...

— Великодушие?! По отношению к авантюристам, которые позорят честь нашего народа? Которые взламывают кассы честных людей, вместо того чтобы работать, и говорят, что украли две тысячи наполеонов не для себя, а чтобы вооружить какую-то новую чету! Хорошенькое великодушие!..

— Но все это правда, — хмуро проговорил Говедаров, — ведь вы на подобную цель не дали бы и ломаного гроша...

Господин со шрамом на щеке рассердился на эти слова,

оскорбляющие его патриотизм. Он почувствовал себя обязанным пылко защищаться и особенно потому, что здесь присутствовал Гробов.

Но вдруг какие-то крики и говор прервали разговор собеседников. Все повернулись к дальнему концу кофейни, где несколько человек громко бранились с двумя венграми, грозя им кулаками.

То были хэши, с которыми сидел Македонский. Официанты старались прекратить ссору, которая все разрасталась, грозя перейти в драку.

Больше всех горячился молоденький хэш с изможденным от лишений лицом, длинными растрепанными волосами и голубыми, горящими яростью глазами. Но он не мог проронить ни слова. Голос у него пресекся от бешенства.

А Македонский громко кричал, со злобой тараща налитые кровью глаза на венгров.

— Глумитесь, а? Туркофилы! Варвары! Стыдно вам, европейцам!.. Если я еще раз услышу от вас такое, я вам зубы вышибу. Будете помнить, что за человек Македонский... Или ведите себя как христиане, или убирайтесь вон отсюда! Болгария горит, а вы издеваетесь... Посмотрим, как их поколотят, ваших турецких героев... Всех их уничтожим, всех до одного! Да здравствует генерал Черняев!

— Долой Турцию! — выкрикнул другой хэш, тощий и бледный, топнув при этом ногой с такой силой, что вокруг зашатались все столы.

Все посетители встали и окружили ссорящихся. Венгры не отступали и ругались по-немецки. Один из них еще сжимал в руке газету «Нойе Фрайе Прессе». Среди публики начался ропот: она явно сочувствовала венграм, а те осмелели, увидев общие симпатии на их стороне. Болгарские хэши остались в одиночестве. Слышался только громкий голос господина Гробова, который встал с места и, не приближаясь к группе ссорящихся, громко кричал:

— Безобразия! Безобразия! И сюда забрались пьяные!..

Эти слова явно относились не к венграм. Оба собеседника господина Гробова уже ушли из кофейни.

Но вдруг Говедаров, пробившись сквозь толпу, подошел к молодому разъяренному хэшу, который все еще стоял в угрожающей позе и, немой, бледный, дрожащий, показывал кому-то кулак. Говедаров схватил его за руку и сказал сострадательным и умоляющим голосом:

— Брычков, успокойся, прошу тебя.

И, взяв Брычкова под руку, Говедаров увел его и заставил снова сесть за столик, за которым, опасливо оглядываясь, смиренно сидел другой хэш с остроскулым болезненным лицом, длинной косматой, нечесаной бородой и в шляпе, надвинутой на испещренный пятнами лоб. Этот человек не участвовал в ссоре. Говедаров поздоровался с ним, хоть и не знал, кто он такой. А это был бывший учитель в Браиле — Владиков.

Осужденный вместе с Брычковым, Хаджией и Бебровским на пятилетнее тюремное заключение за взлом кассы Петреску (на одном заседании хэши решили ее экспроприировать, чтобы получить возможность вооружить, одеть и снабдить всем необходимым новую чету, без чего она не могла выступить), Владиков провел под замком три года и недавно бежал из тюрьмы, а теперь, переодетый, присоединился к своим уже выпущенным на волю товарищам. Если четверо хэшей отделались сравнительно легким наказанием, то этим они были обязаны красноречию своего адвоката. На судебном заседании в присутствии многочисленной публики адвокат, признав перед судьями, что преступление действительно совершено четырьмя обвиняемыми (чего те и не могли отрицать), остановился чрезвычайно проникновенно и пылко на причинах, побудивших их совершить ограбление. Он пространно описал тяжелое положение соседнего поработанного народа; великие труды и жертвы сынов этого народа в борьбе за освобождение; их многократные попытки поднять восстание — попытки, которые враги подавляли ценой крови тысяч несчастных жертв; необходимость иметь громадные средства для организации новой четы на гостеприимной земле «великодушных потомков древних римлян»; увлечение этой идеей, которому поддались пылкие головы болгарских патриотов, решивших во что бы то ни стало, — хотя бы жертвуя своей честью, которая им дороже жизни, — помочь своему отечеству; патриотический характер и величие цели, которая оправдывает все; благородные стремления обвиняемых, которые уж, конечно, не воры от природы, но стали ворами из самых высоких побуждений. Адвокат доказал при помощи документов и других свидетельств, что «чету действительно собирались организовать», а для нее «нужны были деньги»; он обратил внимание судей на моральный облик обвиняемых, особенно на Владикова, которого назвал тружеником и народным учителем, и на Брычкова — поэта и патриота (о Хаджии и Бебровском он не упомянул); он воззвал к человеколюбию и благородству судей, которые на сей раз призваны были судить не уличных воров-рецидивистов, но молодых интеллигентов — надежду и гордость своей поработанной родины, — и, наконец, растрогал всю публику, которая в восторге рукоплескала ему. Суд удалился на совещание. Приняв во внимание смягчающие вину обстоятельства, он уменьшил наказание подсудимым: вместо пятнадцати лет тюремного заключения один из них получил пять, остальные три года. Публика аплодировала приговору и жала руки адвокату.

Этим адвокатом был сам Ботев, приехавший из Галаца специально затем, чтобы защищать обвиняемых.

Таким образом, план хэшей был сорван, и чету организовать не удалось. Македонский был главным участником ограбления (это он разработал план и достал инструменты). Но его не арестовали, так как никто его не выдал. Он долго навещал в тюрьме своих злополучных товарищей; приносил разные разности, чтобы облегчить им тяготы

заклучения, и давал им мелкие суммы на расходы из тех денег, что когда-то хранились в сафьяновом поясе. Он и теперь помогал товарищам, так как с успехом играл в карты и нередко выпрашивал по франку у каких-нибудь болгар-благотетелей.

Сейчас все они только и ждали, что Сербия объявит войну, на которую собирались пойти добровольцами, чтобы принять участие в борьбе против врага славян.

## XV

Вечером в ресторане гостиницы «Трансильвания» собрались почти все хэши, с которыми мы немного познакомились в Браиле. Брычков быстро и взволнованно читал им вслух последний номер «Стара-планины»<sup>38</sup>. Кроме них, здесь было несколько болгар студентов, недавно приехавших из России, несколько русских добровольцев в белых полотняных кителях, подпоясанных ремнями, и в белых фуражках с нашитыми на них красными крестиками, а также двое черногорцев огромного роста, приехавших из Константинополя через Сулин. Все эти люди остановились в Бухаресте, чтобы оттуда выехать в Сербию. Хэши впервые видели русских и смотрели на них с любопытством и симпатией. Просто не могли на них наглядеться. А добровольцы, съехавшиеся со всех концов далекой России, чтобы принять участие в борьбе славян против «басурманов», тоже с любопытством смотрели на своих доселе им незнакомых собеседников, вслушивались в их разговоры и, уловив какие-нибудь понятные слова, близкие к русским, удивлялись и простодушно говорили:

— Слушай, брат, здесь тоже русские, что ли?

— А как же! Это наши братья болгары, — отвечал на это один доброволец, чьи тонкие черты лица и белые руки обличали в нем аристократа. То был граф Ш.

— А мы куда же теперь? В Сербии или в Болгарии будем драться?

— Что Сербия, что Болгария — все едино, — отозвался другой русский, человек лет сорока.

— Нет... Впрочем, да. Обе эти страны славянские и православные, — объяснил граф.

— А зачем они сюда явились? Значит, не пойдут в Сербию? Ведь война с турками будет, — сказал один из русских, кивая на болгар.

Аристократ пожал плечами.

Один студент показал на хэшей и проговорил:

— Они в Сербию идут.

Граф быстро обернулся, посмотрел на студента и спросил приветливым тоном:

— Вы русский? А откуда?

---

<sup>38</sup> «Стара-планина» — политическая газета, издававшаяся в Бухаресте в 1876 г. С. Бобчевым. (Прим. автора) Бобчев — Стефан Савов Бобчев (1853–1940), болгарский общественный и политический деятель, юрист, публицист, академик. Председатель Славянского общества в Болгарии. Основатель и директор так называемого Свободного университета в Софии.

— Из Москвы. Мы болгарские студенты. Несчастья отечества вызвали нас сюда...

Между студентом и графом завязался разговор. Вскоре в нем приняли участие и другие студенты. Говорили о последних тревожных известиях, о восстании в Болгарии и его подавлении, о надеждах, которые народ возлагает на Россию, и о генерале Черняеве. Без всяких рекомендаций, не стесненные никаким этикетом, эти люди сблизились, поняли и полюбили друг друга. Их вдохновлял дух славянства, и сердца их бились по-новому. Глаза их горели одной и той же мыслью, одним и тем же порывом, одной и той же скорбью. Излияния братской любви становились все более пылкими, все более сердечными. Хэши, которые раньше сидели отдельно от русских и только застенчиво поглядывали на них, подошли к их столикам. И вот между ними и русскими завязался разговор на каком-то новом славянском наречии. Все старались произнести хоть одно русское слово и убедиться, что их поняли; чувство благодарности наполнило все сердца. Граф заказал шампанское. Запенились бокалы с искрометным вином; граф взял свой бокал, поднялся и негромко произнес следующую речь:

— Господа! Я впервые увидел болгар в этой стране и, признаюсь, полюбил их всей силой своей души. То новое и вдохновляющее чувство, которое я испытывал при мысли о ваших страданиях и борьбе, когда еще находился на своей далекой родине, теперь, при встрече с вами, моими угнетенными единоплеменниками, стало во сто крат более сильным. Как вы, так и мы, русские, идем, не боясь крови и жертв, на помощь своим единокровным братьям сербам, которые доблестно подняли знамя борьбы против исконного врага славянства. Пью за полное торжество правого дела; пью за обеих родных сестер России — за Болгарию и Сербию!

Громовые, бурные, восторженные клики: «Да здравствует!» были ответом на проникновенные слова русского.

Несколько хэшей прослезились; в их числе был Брычков.

Один студент встал и взволнованным голосом провозгласил здравицу за солидарность славян.

— Ур-ра! — громким голосом закричало человек двадцать.

— Хвала! — загремели черногорцы.

— Живио! — крикнул содержатель ресторана (он был серб).

Заказали еще несколько бутылок шампанского. Бокалы снова заискрились и запенились. Славяне глубоко вздыхали от полноты чувств; двое русских подошли к Бебровскому и Попику и расцеловались с ними. Черногорцы уже громко кричали и поносили турок, которые «сжигают живыми православных славян».

Но вот дверь распахнулась и хлопнула, и Македонский, по обыкновению шумно, ввалился в ресторан с каким-то листком в руке.

— Ребята! Новость: вчера вспыхнул первый бой при Бабиной-главе<sup>39</sup>. Сербы победили! Ура!

---

39 Бабина-глава — возвышенность в западной части Балканского хребта, занятая в первые дни

Все вскочили, потрясенные и обрадованные.

— Война! Война!

— Вот вам телеграмма, читайте все подробно... Я ее у Грובה отобрал... Проклятый толстяк, — проговорил Македонский, красный и запыхавшийся. А когда увидел русских, снял свою мадьярскую шапку, почтительно улыбнулся и стал пожимать им руки.

— Юнаки! Здравствуйте! Да здравствует Россия!

— Здравствуй, брат болгарин, — отвечали русские добровольцы, с чувством пожимая ему руку.

Общий восторг достиг своей высшей точки. Телеграмма перелетела из рук в руки; каждому хотелось собственными глазами увидеть буквы латинского шрифта, принесшие радостную весть о победе. Географическое название «Бабина-глава» сразу же показалось всем необыкновенно красивым и выразительным. Первое выступление маленькой сербской армии увенчалось успехом, победой! А ведь никто на это не надеялся. Черногорцы тут же решили выехать с завтрашним поездом в Турну-Северин, а оттуда тронуться по Дунаю в Кладово. Йоваиович (содержатель ресторана) был сам не свой от восторга. Он поставил на стол новые бутылки шампанского, чтобы угостить дорогих гостей на свой счет. Русские видели эту общую искреннюю радость, на глазах у них выступили слезы.

— Братья! — воскликнул Брычков, сверкая глазами и с буйно бьющимся сердцем, — война началась, и наша пламенная надежда осуществилась. Теперь мы можем сражаться и геройски умереть за нашу столь дорогую нам свободу.

— Не будем лежать падалью в этой чужой земле! — подхватил Хаджия.

— Из Сербии — прямо в Болгарию, а там поднимем восстание среди наших молодцов шопов<sup>40</sup> и заставим попотеть Абдул Керима-эфенди, — добавил Бебровский.

— А кто будет там воеводствовать?

— Тотю!

— Панайот!

— Да здравствуют добровольцы! Да здравствуют все славянские юнаки! — закричал Македонский, жадно глотая шампанское, и, панибратски ухмыльнувшись русским добровольцам, вытер свои длинные усы.

Радость и воодушевление возрастали. У хэшей словно выросли крылья; люди горели нетерпеливым желанием поскорее выехать в Кладово, опасаясь, как бы все победы не были одержаны до их прибытия. Пришел Говедаров и объявил хэшам, что спустя два дня

---

сербско-турецкой войны 1876 г. войсками генерала Черняева, Упоминаемые далее в тексте: Джунинский день — трагический для сербской армии день сдачи турецким войскам укрепленного пункта Джунин 17 октября 1876 г.; Гредетинская планина или Гредетинские высоты, взятые турецкими войсками после ожесточенного сражения.

40 Шопы — областная группа болгарского народа, проживающая у западных границ страны, близ Софии.

бухарестский молодой комитет<sup>41</sup> снабдит их железнодорожными билетами и деньгами на расходы.

Наутро народу прибавилось. Повстанцы и беженцы — люди, бежавшие из Болгарии после жестокого подавления Панагюрского восстания, старые хэши — ветераны 1862 года<sup>42</sup> и участники чет, действовавших в 1867–1868 годах, огородники, кирпичники, лавочники, работники, разбросанные по всей Румынии, теперь стекались в Бухарест, чтобы оттуда двинуться в Сербию. Они сразу же оставляли все свои дела и бросались в опасную борьбу, которая или открывала перед ними могилу, или навсегда закрывала двери в Болгарию, с которой их связывало столько семейных радостей и привязанностей. Сейчас они кинулись в бездну злоключений и неизвестности. Зачем? Чтобы послужить делу освобождения своей родины. Что гнало их, что принуждало жертвовать собой? Корысть? Честолюбие? Нет, сейчас они были выше подобных низких чувств. Другое влияло на их сердца — дух времени, тот дух, который в короткий срок поднял из недр измученной Болгарии так много сильных ее сынов и подарил истории столько славных страниц, повествующих о героизме и самопожертвовании. То был, выражаясь простодушно-красноречивыми словами г. Симидова, «патриотизм, эта неизлечимая короста!<sup>43</sup>». То было время, полное самопожертвований, ибо из великих страданий возникает великий героизм; а наше время — эпоха мелких характеров.

Патриотическая струна в израненных болгарских сердцах была так нежна, так чувствительна, так натянута, что малейшее дуновение было способно поколебать ее и вызвать чудесные звуки. Стоило этим бедным скитальцам, этим сынам Болгарии, забытым ею и брошенным на произвол судьбы, услышать стон своей родины, услышать зов к борьбе с тиранами, как они оживлялись, молодели, загорались и спешили принести на алтарь отечества и деньги, и покой, и могли отдать свою жизнь — и этого было достаточно. Услышав о том, что началась война, люди словно обезумели. Они распродали, побросали, раздали, развеяли все свое имущество, чтобы дорожить только Болгарией, уподобившись в этом, — да будет нам позволено привести такое сравнение, — македонцам Александра Великого, которые сожгли свои корабли у берегов Азии, чтобы уже не думать об отступлении.

Теперь трудно поверить, что все так и было.

Спустя три дня Говедаров провожал на бухарестском вокзале

---

41 Этот комитет был организован и действовал как революционный комитет, но носил название: «Болгарский благотворительный комитет в Бухаресте». (Прим. автора) Бухарестский молодой комитет — Речь идет об организованном в 1868 г. в Бухаресте «Болгарском обществе», вокруг которого группировались накапливающиеся силы «молодого» крыла болгарской эмиграции, стоявшие на позициях мелкобуржуазного радикализма.

42 ...ветераны 1862 г. — бойцы организованной Г. Раковским в Белграде болгарской добровольческой легии.

43 «Покрита храброст», современные записки о болгарских четах в Сербии в 1876 г., Ф. Симидова, Гюргево, 1877. (Прим. автора)



многолюдную дружину хэшей и добровольцев, желая им победить и благополучно вернуться.

Поезд тронулся, и звуки повстанческой песни смешались с лязгом и грохотом вагонных колес.

Радостное тогда было время,

## XVI

Вот уже четыре месяца, как шла война.

Пока еще не произошло ни одного значительного столкновения между воюющими сторонами. Медлительный Абдул-Керим-паша еще не находил удобным испытать свои силы и попытаться нанести решительный удар противнику, а энергичный Черняев не желал подвергаться риску возможного поражения с непривыкшим к грому битвы, неопытным сербским ополчением. Зато башибузуки свирепствовали, жгли, резали, брали в плен. Восточные окраины Сербии были уже опустошены. Глухое недовольство, напряженное волнение уже наблюдалось в недрах сербской армии, состоявшей из сербов, русских, болгар и черногорцев. Взаимное непонимание мешало точному выполнению приказов; национальный эгоизм пробудился совсем не ко времени и приводил к путанице и непоследовательности в военных действиях.

Крупное столкновение произошло восьмого сентября при Алексинаце, и сербы одержали верх; они дали отпор атакующим турецким войскам.

А между тем роковой Джунийский день еще не наступил.

Шестнадцатого сентября второй батальон русско-болгарской бригады, в котором было восемьсот пятьдесят болгар, одетых в военную форму, стоял против Гредетинской планины.

Гредетинская планина — это горный узел из невысоких хребтов, окаймляющих восточную сербскую границу. Большая часть их поросла невысоким лесом и кустарником.

На одной из наиболее высоких вершин находилась турецкая позиция, укрепленная четырьмя большими пушками. На западном пологом склоне хребта три линии окопов, вырытых поперек склона, преграждали доступ к батарее. Вдоль окопов торчали шалаши из хвороста и листвы, в которых ютились защитники батареи.

Между верхней линией окопов и батареей была устроена засека, иначе говоря, росшие там деревья были срублены — иные на уровне половины ствола, иные на уровне земли, — а все пространство между ними завалено ветками и хворостом так, чтобы остановить противника, даже если бы ему удалось занять окопы.

Четыре или пять турецких батальонов, вооруженных новейшими скорострельными винтовками, обороняли окопы и батарею. На некотором расстоянии от этой укрепленной вершины был расположен турецкий резерв, готовый выступить в случае нужды. На противоположной стороне долины господствующую высоту заняла

другая турецкая батарея с одной крупновесной пушкой. Ее называли «белой батареей».

Неподалеку, в желтеющей долине Моравы, виднелись столбы белого дыма, поднимавшиеся над горящими сербскими деревнями, которые были захвачены и подожжены башибузуками.

Итак, второй батальон русско-болгарской бригады должен был в этот день броситься на все эти вражеские войска. В соответствии с планом общего наступления по всей турецкой линии ему было приказано занять гредетинскую позицию.

Батальон был вооружен бельгийскими капсюльными ружьями, которые заряжались с дула.

Поодаль от русско-болгарского батальона стояла как вспомогательная сила дружина храбрых черногорцев численностью около трехсот человек. Позади них в чаще леса скрывались три батальона болгар, одна батарея с четырьмя четырехфунтовыми пушками и три-четыре батальона сербов — они считались резервом и стояли на второй боевой линии.

Второй батальон, как и остальные три батальона русско-болгарской бригады, находился в составе моравской армии и был под командой энергичного русского полковника Медведовского, который подчинялся Хорватовичу.

Ближайшим и любимым начальником болгарских добровольцев этого батальона был назначенный генералом Черняевым храбрый капитан Райчо Николаев<sup>44</sup>, тоже болгарин, некогда служивший в русской армии и прославившийся своей храбростью, когда он в 1854 году переплыл Дунай.

Второй батальон, теперь уже обученная и дисциплинированная воинская часть, был той самой четой всего из девяноста шести человек, которую Райчо Николаев еще в июле собрал в Бухаресте и привез в Кладово после того, как она была обезоружена сербскими властями в Крайове, и этот батальон уже имел несколько столкновений с турецкими войсками: шестого августа при Копривнице, где он разгромил две воинские части, турецкую и черкесскую; потом у башни Градской крепости, защищаемой четырьмя пушками, где батальон разбил значительный отряд и заставил его отступить и укрыться в крепости. Итак, батальон уже побывал в огне, и теперь горел нетерпеливым желанием одержать победу еще более блестящую; потому, когда прочли приказ взять приступом гредетинскую укрепленную позицию, всю дружину охватило огромное воодушевление. Болгары жаждали как можно скорее оправдать добрые слова генерала Черняева, который сказал им в Шилинговеце, что он «возлагает на болгар немалые надежды и не сомневается, что они будут геройски сражаться с врагом христиан».

Было еще одно важное обстоятельство. Отношение сербских

---

44 Райчо Николаев — Николов Райчо (1840–1885), майор, окончил военное училище в России, участник болгарского ополчения; в 13-летнем возрасте совершил подвиг — переплыл Дунай во время Крымской войны и передал ценные сведения русскому командованию.

офицеров и даже самого населения к болгарам оставляло желать лучшего. Возникла вражда, сначала тайная, потом явная. Опустошительные военные действия, давно уже перенесенные на сербскую почву; следовавшие одна за другой неудачи сербской армии, которая была вынуждена отступить и оставить цветущие долины Моравы и Тимока в жертву огню и грабителям; раздражение, вызванное затянувшейся злополучной войной — все это, естественно, побудило сербов искать какую-то причину, какого-то виновника неудач смелого начинания, которое сербы рыцарски предприняли в благородном порыве великодушия. Перед глазами у них маячили болгары. И вот на болгар посыпались обвинения в неискренности, в вероломстве, в трусости и прочее. За обвинениями последовали тяжкие оскорбления; за оскорблениями — нескрываемое недоверие и преследования. Болгары сразу увидели, что с ними обращаются не как с бескорыстными союзниками, а как с наемными войсками искателей приключений, которые явились сюда лишь с целью грабежа; а печать со своей стороны подливала масла в огонь. Болгары начали терпеть недостаток в продовольствии, во всякого рода снаряжении, в боеприпасах; были попытки заставить их называть себя старосербами; у Неготина попытались заменить болгарское знамя сербским. Так день от дня положение болгар становилось все более незавидным, задача — все более трудной. Но все лишения, все физические страдания меркли перед всеобщими обвинениями болгар в трусости.

В качестве красноречивейшего доказательства душевных мук, испытанных болгарами, приведем конец речи, с которой в то утро капитан Райчо обратился к батальону: «Сегодня тот день, — сказал он, — когда мы докажем, что знаем, как надо расплатиться с палачом всех христиан, и заставим умолкнуть бессовестную газету «Изток»...<sup>45</sup> Сегодня в бою мы должны героически пролить кровь и омыть ею и лицо свое и имя, дабы восстановить свою попорченную честь»<sup>46</sup>.

Как только батальон занял исходную позицию, справа послышалось несколько выстрелов.

Черногорцы бросились в атаку на турок.

Их встретили ураганным огнем. Окопы заволкло длинными пеленами дыма.

Стрелки батальона сейчас же кинулись вперед, а за ними и весь батальон яростно устремился к первой линии окопов. Дождь пуль осыпал добровольцев, и ряды их, окутанные синими клубами дыма, редели. И гредетинская и «белая» батареи открыли огонь. Но добровольцы шли на приступ и стреляли, оставляя позади себя умирающих и раненых. Как только они присоединились к черногорцам, которые с руганью и криками бежали к окопам, начался жестокий бой. Турки выскочили из окопов. Два войска сошлись грудь

---

<sup>45</sup> Сербская официальная газета, издававшаяся в Белграде. (Прим. автора)

<sup>46</sup> Эти сведения я почерпнул как из упомянутой выше книги «Покрита храброст», так и от частных лиц, которые участвовали в добровольческих четах в Сербии и в самом этом бою. (Прим. автора)

с грудью. Сабля скрещивалась со штыком, удар кулака отвечал на удар приклада, ругательство — на брань. Шум и пальба, смешанные с криками «вперед», раздирали воздух. Черногорцы дрались, как львы. Болгары рубили, кололи, разили, ударяли, как бешеные. Неприятель отступил; батальон подбежал к шалашам, поджег их, занял первую линию окопов и бросился ко второй. С победными криками «ура» мчался он вперед под градом пуль и гранат, и противник, увидев, что добровольцы приближаются ко второму ряду окопов, отступил, но продолжал стрелять беспрерывно. Новый натиск со стороны болгар и черногорцев — они атаковали третью линию окопов. Ничто не могло их остановить. Тогда турки решили напасть на левый фланг батальона. Но добровольцы по команде повернулись лицом к неприятелю, и его маневр не удался. На турок внезапно обрушили ураганный огонь, и они быстро отступили за холм. Неописуемы были храбрость и бесстрашие славян. Многие из них пали, но те, что остались в живых, шли вперед с криками: «Ура! Ура! Победа!» Под сильнейшим огнем противника они ворвались в окопы третьей линии. Вдруг Брычков с лицом, почерневшим от пороха, и кровью на правой щеке, взбираясь на насыпь с ножом в руке, услышал где-то вблизи знакомый голос:

— Брат, Брычков, умираю!

Брычков взглянул в ту сторону. Владиков с пулей в груди упал в окоп.

И сразу же Хаджия, окровавленный, с непокрытой головой, спустился в ров, стиснув в руке нож, и с помощью другого ратника вынес оттуда Владикова, обливавшегося горячей кровью. Раненого понесли в тыл. Но вдруг граната просвистела над ухом Брыčkова и разорвалась в конце окопа, куда несли Владикова; густое облако дыма и пыли заволочло товарищей Брыčkова. Он зашатался и чуть было не упал. Но чья-то сильная рука схватила его под мышки и чей-то голос крикнул: «Держись, брат, вперед!» Брычков увидел перед собой Македонского, который хоть и получил несколько ран, но, увлеченный общим натиском и криками, тоже бежал в гору. Пули свистели и жужжали у него над головой. Воины приблизились к засеке, которая затруднила их продвижение. Брычков изнемог и ослабел; его томила лютая жажда. Он чувствовал, что умирает. Неугасимый огонь жег его пересохшее горло и язык. Он был ранен, но не знал куда, и чувствовал только мучительную жажду. Тут Македонский заметил на горном склоне ложбинку, на дне которой желтела мутная вода, почти превратившаяся в ил под ногами людей. Раненые наклонились и стали пить. Вода благотворно подействовала на них и вернула Брычкову гаснущие силы. Товарищи снова бросились вперед и принялись пробираться сквозь засеку из поваленных деревьев и хвороста. Среди грохота боя слышались отрывистые крики капитана Райчо: «Братья! Вперед!..» Знамя то мелькало перед глазами товарищей, то исчезало. Но вот добровольцы преодолели и эту преграду и, задыхаясь, ринулись к насыпи, за которой торчали все

четыре пушки батареи и сотни ружей с длинными штыками. Сейчас все турецкие силы сосредоточились около батареи. Начался новый бой, убийственный и беспощадный. Но ничто не могло остановить отчаянной храбрости славян. Они как львы бросались в атаку; их опьяняло чувство страшной ненависти, злобы, безумного ожесточения... Смерть и ужас, царившие здесь, придавали им нечеловеческую силу; а усталость и трехчасовой подъем по этому обрыву, голод и жажда лишили их мышцы чувствительности, превратили их в железо... Перед этой страшной атакой героев, которых не брали ни пули, ни смерть, турки отступили. Болгары и черногорцы хлынули к редуту с яростными криками «ура!»... Тут — новая бойня. Противник обратился в бегство. Но командир-араб снова отдал приказ идти в атаку, и турки, приободрившись, повернули назад и схватились с занявшими редут добровольцами. Оглушительная пальба раздирала воздух. Все четыре пушки перестали стрелять и стояли как немые свидетели боя. Все вокруг было усеяно мертвыми и ранеными. Турки не устояли перед натиском и снова бежали. Добровольцы бросились к пушкам, и один из них быстро вскочил на орудийный ствол и оседлал его, как коня.

— Победа! — крикнул он.

То был Брычков.

И вот смуглый азиат устремился к нему со штыком наперевес и заревел, как зверь:

— Назад, собака!

Но Брычков с быстротой молнии поднял ружье, которое было у него под рукой, и со страшной силой ударил врага прикладом по голове со словами:

— Вот тебе «назад»!

Штык прошел под мышкой у Брычкова.

Смуглый азиат пал мертвым на землю.

Между тем к туркам подоспело подкрепление — подошли три колонны. Турки приостановили свое отступление и снова бросились отбивать редут.

«Белая батарея» осыпала все вокруг гранатами и вселяла ужас в сердца.

Македонский с глазами, налитыми кровью, первый бросился навстречу приближающемуся противнику с занесенным над головой ножом, весь обгащенный чужой и своей кровью, капавшей с его тела.

Близ него упала граната, разорвалась на тысячи кусков, и Македонский исчез в облаке дыма...

— Македонский! — крикнул невольно Брычков и свалился с пушки.

Вражеская пуля пробила ему голову. Он был мертв.

## XVII

Черногорцы и второй батальон русско-болгарской бригады не

удержали редута. Сербские батареи умолкли, и сербский резерв не пришел, чтобы оказать поддержку героическому подвигу этой горстки юнаков; сербы невозмутимо смотрели на гибель храбрецов. Почему?

Несколько тысяч турок, получив подкрепление свежими частями, поддержанное непрестанно стрелявшей «белой батареей», снова хлынули к редуту, оставленному добровольцами после отчаянного и бесплодного сопротивления.

В этом злосчастном и героическом бою полегло несколько сот молодых болгар и большинство черногорцев; их победило численное превосходство, и они умерли, как спартанцы.

Погибло много русских офицеров; во время отступления одна граната раздробила ногу капитану Сикорскому и убила шестерых болгар. Другая разорвалась перед капитаном Райчо, и он потерял сознание. Три дня его считали убитым.

Но болгары «омыли свое лицо». Героизм их прогремел повсюду и заткнул рот клевете. Генерал Черняев, тронутый их подвигом, осыпал их похвалами и наградами.

А наши приятели?.. Почти все они оставили свои кости на негостеприимной Гредетинской высоте. Владиков погиб от пули и осколков снаряда, которые убили и Хаджию, когда тот выносил товарища из боя. Бебровский был пронзен двумя штыками на редуте в тот миг, когда он одним взмахом сабли повалил трех врагов. И другие пали на поле брани или скончались в окрестных лазаретах.

Попик и Мравка, возвращаясь после войны в Бухарест — пешком, в жалких лохмотьях — однажды ночью замерзли где-то близ Крайова.

Остался в живых только Македонский — одиннадцать ран его зажали, но правая рука отсохла.

Теперь он служит рассыльным и левой рукой подметает канцелярию.

...И этот лев Стара-планины, этот герой Гредетина малодушно трепещет перед грубым окриком писаря...

Длительная агония!..

Бедный, бедный Македонский! Лучше бы ему пасть на Гредетинской высоте!..

*Пловдив, 1883 г.*